# СБОРНИК ДИКТАНТОВ

## по русскому языку

### для 5–11 классов

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Собранные в книге диктанты по русскому языку адресованы учащимся с 5 по 11 классы различных учебных заведений. Диктанты разбиты на группы по возрасту учеников и цели: орфографические, пунктуационные, комплексные.

Сборник предназначен для тех, кто обучает русскому языку на всех уровнях (в школе, колледже, лицее, вузе), для всех, кого интересует самобытность русского языка и волнует его судьба; подобранные тексты служат для закрепления навыков правописания, проверки степени их сформированности и усвоения.

Издание поможет систематизировать знания, полученные на уроках, подготовиться к сдаче экзаменов, оно может быть использовано преподавателем на занятиях, для самостоятельной работы, на всех уровнях изучения русского языка – в средней школе, колледже, лицее, слушателями подготовительных отделений вузов и т. д.

- Михаил Филипченко
  - От составителя

# Михаил Филипченко
# Сборник диктантов по русскому языку для 5 – 11 классов

# От составителя

Основные задачи обучения русскому языку – дать школьникам глубокие знания, привить им прочные навыки и умения, развить их творческие способности. Комплексному решению этих задач способствует работа учителя, и в частности, работа по закреплению знаний, умений и навыков, с использованием проверочных и контрольных работ различных видов, упражнений. Таким образом решается основная задача современной школы – переход от человека образованного к человеку культурному.

Отбор материалов для текстов диктантов – одна из серьезных проблем методики преподавания русского языка. Учителя вынуждены тратить довольно много времени на то, чтобы подыскать для своих уроков необходимый материал, поскольку многие тексты, издававшиеся ранее, либо морально устарели, либо выглядят в современных условиях не совсем корректно.

При отборе текстов составитель опирался на следующие принципы:

– культуроведческий принцип: в состав сборника включены тексты, ориентированные на национальную культуру народа и приобщающие учащихся к сокровищнице культуры через посредство языка;

– принцип учета возрастных особенностей школьников, которые любят работать и с серьезными текстами, и с текстами-шутками; с интересом выполняют задания, требующие интеллектуального напряжения, творческого подхода;

– принцип стилистического и жанрового разнообразия: в сборнике собраны тексты различных жанров и стилей;

– принцип разнообразия видов диктантов, что стимулирует интерес в обучении, заинтересованность учащихся на уроке, меньшую утомляемость и большую активность при выполнении заданий.

При подготовке сборника составитель решил следующие задачи:

1) подобрать примеры, иллюстрирующие основные теоретические темы курса изучения русского языка и литературы;

2) в соответствии с программами отразить на примерах основные трудные случаи правописания;

3) обновить наполнение сборника, избежав, по возможности, повтора ранее использовавшихся текстов;

4) пополнить новыми именами состав авторов текстов, используемых в качестве дидактического материала.

При составлении настоящего сборника использовались тексты произведений русской художественной литературы – классической (XIX век) и современной (XX век).

Сборник состоит из трех разделов:

1. I раздел. «5–7 классы. Орфография. Лексика. Словообразование. Морфология» – содержит тексты, нацеленные на проверку знания орфографических правил, правил словообразования, лексики и морфологии.

2. II раздел. «8–11 классы. Синтаксис и пунктуация» – включает тексты диктантов, подобранные по наиболее важным темам синтаксиса и пунктуации.

3. III раздел. «Комплексные диктанты» – содержит наиболее трудные в орфографическом и пунктуационном отношении тексты, имеющие обобщающий характер. Тексты подбирались с учетом наличия в них орфограмм и пунктограмм на многие правила.

Некоторые диктанты имеют оттенок занимательности, нацеливают на самостоятельную работу со словарями и справочными пособиями.

Сборник диктантов предназначен для тех, кто обучает русскому языку на всех уровнях (в школе, колледже, лицее, вузе), для всех, кого интересует самобытность русского языка и волнует его судьба; подобранные тексты служат для закрепления навыков правописания, проверки степени их сформированности и усвоения.

Сборник может быть использован преподавателем на занятиях, для самостоятельной работы, на всех уровнях изучения русского языка – в средней школе, колледже, лицее, слушателями подготовительных отделений вузов и т. д.

# I раздел. 5–7 классы Орфография. Лексика. Словообразование. Морфология

# 1 Зайчата

Зайцы-беляки живут в теплом климате; приносят они от двух до пяти зайчат четыре-пять раз в год. В марте у зайчихи рождаются «настовички» (в это время еще лежит снег, покрытый твердой коркой – настом).

Есть разные мнения о родительской заботливости зайчихи. Одни ученые считают, что зайчиха – хорошая мамаша, она остается рядом с детишками, далеко от себя не отпускает их, обучает, а в случае опасности притворяется больной или раненой и отводит от зайчат хищника.

Бытует и другое мнение: зайчиха оставляет новорожденных где-нибудь под кустиком или в траве и убегает. Зайчата пока обеспечены едой: мать накормила их, и в желудке у каждого зайчонка есть запас очень жирного молока. Через какое-то время мамаша вернется и снова покормит зайчат, или покормит их другая зайчиха, пробегая мимо.

Зайчата рождаются вполне развитыми, оформившимися, зрячими, они хорошо растут и через несколько дней начинают питаться самостоятельно.

# 2 Барсуки

Весной, перед выходом из норы, барсук долго прислушивается и принюхивается – нет ли опасности? Но, выйдя из норы, скоро забывает об осторожности – шумит, сопит и топает.

Вскоре размеренная жизнь барсучихи нарушается появлением барсучат. Их бывает от двух до шести. Весят они граммов пятнадцать, а длина каждого чуть больше десяти сантиметров. Малыши требовательны и капризны: мать три-четыре дня вообще не может выйти из норы. Затем покидает ее, но очень ненадолго.

В ясные дни барсучиха выносит ежедневно слепых барсучат (глаза у них раскрываются лишь через пять недель после рождения) на солнышко. Примерно в двухмесячном возрасте барсучата сами уже выходят из норы и вскоре начинают совершать вместе с мамашей небольшие экскурсии. Постепенно прогулки становятся все продолжительнее, и в конце лета молодые барсуки уходят так же далеко от норы, как и взрослые.

Барсуки – очень полезные животные. Они уничтожают в большом количестве слизней, гусениц, личинок, вредных насекомых, мышевидных грызунов.

Охота на барсуков запрещена. Но, к сожалению, их много гибнет от рук браконьеров. И барсуков становится все меньше и меньше.

# 3

Утро застало нас близ моря. О том, что ночью бушевал девятибалльный шторм, напоминали лишь плавучие водоросли, брошенные на прибрежные кристаллические скалы. Их так много, что кажется, как будто океан нарочно постлал здесь этот зеленый ковер. У самой земли еще влажно мерцает мелкая холодная изморозь, но вверху небо уже кристально чистое. Вдруг брызнули первые лучи солнца, и миллионы бриллиантов заблистали везде: на кустах можжевельника, в зарослях камыша, растущего у ближайшей речонки, и на вспыхнувшей огнем брошенной перламутровой раковине. Кажется, здесь не ступала нога человека, но вот виден свежий след трехтонки, проехавшей по песчаному берегу, да вон чей-то полуразрушенный дощаник. Однако посмотрите: уж не след ли это медвежонка?

Нам надо поторапливаться, и поэтому мы, наскоро подкрепившись свиной тушенкой и шоколадом, отправляемся в путь. Обувь наша не высохла-таки и, вопреки заверениям, очень промокает. Все сияет после недавнего ливня: и голубые цветы цикория, и какие-то кусты с красными ягодами. Мой приятель забирается за ними в самую чащобу, несмотря на то, что кусты колются и жалятся. Посмотрите: вот птенцы широко разевают клювы. Как низко расположены гнезда! Здесь, наверное, их некому разорять.

Так мы продолжаем продвигаться вперед, взимая эту неожиданную для нас дань с природы. Но так как наш арьергард слишком растягивается, начальник экспедиции дает приказ подравняться. И мы продолжаем идти, забыв о всех горестях и изъянах нашей экспедиции.

Не нужно чересчур преуменьшать трудность таких походов, но я не хочу и приуменьшить то удовольствие, которое они доставляют. Мы идем через лес, окропленный мириадами капель, которые висят даже на безыглых ветвях старых елок. Как ни тяжелы наши рюкзаки, мы все впоследствии с удовольствием вспоминали наше путешествие.

# 4 Северные гости

С наступлением холодов жди северных гостей – снегирей, чечеток, свиристелей. В прошлом году свиристели заявились поздно, в январе, ягоды рябины за это время успели несколько раз замерзнуть, стать ледяными и снова оттаять. Многие уже чернели. А они все не прилетали: рябины было на их пути к нам полным-полно. И в наших краях они гостили долго, пока не кончилась вся рябина.

А в прошлом году пожаловали в ноябре. Полетали, полетали красавцы по нашим заснеженным улицам, посмотрели на голые рябинки – пусто: рябина не уродилась. И не только в наших краях. А то бы и не заявились они так рано.

Я увидел свиристелей на улице утром, а под вечер, в метель, нечаянно спугнул их уже в поле. Они приютились с подветренной стороны у копешки овсяной соломы, упавшей у кого-то с санок. А на другой день их уже и след простыл, улетели дальше.

А вот чечетки остались. Между сосновыми рощами березки вразбежку. А ниже, до самого ручья, по всему косогору только снег да сухие кустики полыни, пижмы, цикория. Ветер обжигающе колюч. Я хотел побыстрее переехать это место. А тут вдруг невдалеке опускается большая стая чечеток, сотни две, не меньше. Видно, только что с дороги, даже не успели еще разбиться на стайки. Я остановился, наблюдаю, что будет дальше. А они то сядут с одной стороны, то легко вспорхнут, чтобы опуститься с другой. И до чего же они малы: меньше даже пеночек и зарянок. А еще чутки. Стоит мне прошуршать листком блокнота, переворачивая его, как они поднимаются. А вскоре опять опускаются на кустики цикория то грудно, то кучками по всему косогору, хоть иди и собирай. А то сядут на березки, что рядом, махонькие северные воробушки, разукрасят их и заголосят суетливо и громко: че-чет, че-чет. Но не засидишься на заиндевелых ветках, и они вспархивают и снова садятся на былинки, оставляя на снегу сухую шелуху. Только мелькают темно-красные пятнышки на темечке да малиновые грудки у самцов. Смотрю на них и гадаю, откуда они заявились: из холодной тундры, с Новой Земли или от Белого моря? Кто их знает, не говорят. Но ясно одно: путь их далек, ведь постоянное жительство у них – северное редколесье, тундра, побережье Ледовитого океана.

А они и забыли свою дальнюю дорогу, знай, перепархивают по кусточкам цикория да громко сплетничают. Когда они улетели, поинтересовался, чем они кормятся. Сорвал три кустика

цикория, растер на ладони колоски-мочки. Почти все пустые, только и нашел два тощеньких желтых семечка.

Тяжелая им покажется зима. Как далеко до мартовских дней, когда они перед отлетом в родные края будут весело раскачиваться на длинных березовых косах, подкрепляясь молодыми почками.

А сейчас очень трудно чечеткам. Потому их, голодных, легко обмануть, заманить в клетку, чтобы поймать, а потом продать. А они-то летели к нам в такую даль не за тем, чтобы стать невольницами. Не будем же забывать об этом, пожалеем этих махоньких северных красавиц.

# 5

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной и, когда вспыхнул запретительный светофор, на мокром асфальте появилось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завыли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшелоном. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда – ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника… Жизнь грохочет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

*(По В. Гроссману)*

# 6 Рябиновый дол

Затерялся в перелесках рябиновый дол. Рассказывают, что давным-давно здесь, в этом долу, молнией убило убогого странника. А богдановский пастух возьми и посади на том месте две рябинки на память. А теперь вон их сколько, не сосчитаешь: весь дол в них, по обоим склонам. Рябинки одна на другую не похожие, и ягоды тоже: то они розовые, то алые, то темно-красные.

Я люблю заходить сюда в августе, когда наливается рябина, исподволь краснеют ее ягоды и свешиваются тяжелыми кистями. В сентябре залюбуешься резными листьями, багряными и красными от алых зорь и рябинового огня. А в октябре, когда кругом стоят голые деревья, этот дол еще долго радует глаз. Издали кажется, что алые кисти висят не на тонких ветвях, а прямо в воздухе.

Этот дол хорош и зимой, даже еще лучше на белом поле. Потому и склоны его такие нарядные и праздничные, что рябит в глазах от красного и белого, рябинового и снежного. И не поймешь, чего тут больше. Дол в конце делает полукруг, делают полукруг и рябинки. Вот и кажется, что эту снежную долину украсил щедрый волшебник рубиновым ожерельем. А это ожерелье то покроется снегом, то опять останется голым, озябшим, постукивая на ветру замороженными ягодами.

Когда же падает сырой снег, он покрывает сверху рябиновые кисти. Снег затвердеет, зачерствеет, так что и в ветер не опадает, а качается вместе с кистями: ни дать ни взять маленькие перевернутые парашютики зацепились за ветки. Если же оттепель, гроздья плачут, умываясь слезами. В мороз – обледенеют, покроются тонкой ледяной кожицей. Срываю, кладу в рот маленькие красные ледяшки. Они тают, становятся вкусными, прохладными ягодами. Никакой горьковатости: ее отняли первые морозы.

Хороши они и в бахроме инея: каждая ягодка в крохотном серебряном венце. А однажды я видел чудо: с утра падал сухой снежок, его кристаллики обсыпали все кисти рябины, и они заиграли на солнце волшебными огоньками.

Затерялся в перелесках рябиновый дол. А все равно его отыскали свиристели. Они прилетели в субботу и все воскресенье тешились здесь шумно, суетливо, радостно. Даже сороки наведались сюда из садов, уселись в сторонке, завидуя чужому пиршеству. А свиристелей так много, что, когда поднялись, все небо было в этих северных красивых птицах, что звали на Руси

красавами.

Дождался-таки своего часа рябиновый дол. Не зря хранил свою красоту и богатство.

## 7

В конце апреля, в еще голом, сквозном лесу, на возвышенных прогретых местах сквозь жесткую кожистую подстилку пробивается сон-трава. На нежных, опушенных стеблях, как бы еще не окрепших от перворождения, поникше дремлют крупные сине-фиолетовые цветы. Об эту пору растеньице еще без единого листочка: просто стебель и на нем – цветок. Сон-трава так и зимовала под снегом, под опавшими древесными листьями с уже готовым бутоном, с тем чтобы, пока вокруг еще нет ни одной травинки, первой пробиться к солнцу, поскорее развернуть бутон и понежиться, подремать в ласковых вешних лучах. Ничего подобного этой яркой, праздничной сини нет во всем пока еще не прибранном, буро-жухлом лесу, и потому так радостно изумишься, когда еще издали, за много шагов, увидишь это диво весны.

Рвать цветок нельзя. Он и сам по себе трепетно-нежный, неприкасаемый и даже под бодрящим апрельским солнцем не в силах приподнять дремотно опущенной головы. Если же его сорвать, то он тут же безвольно поникнет и уснет навсегда… Оттого и назван так: сон-трава.

Но вот все-таки рвут многочисленные посетители вешнего леса! Рвут и вскоре бросают. Бросают из-за этой нежной неприкасаемости растения, а стало быть, из-за его бесполезности и ненужности. Бывает, в воскресный день все лесные тропки, ведущие к электричке, усыпаны завядшими и растоптанными цветами.

*(По Е. Носову)*

# 8 Орешниковые сони

Мы с другом очищали скворечники у нас в саду от старой подстилки, которую натаскали в гнезда скворцы. И вдруг из одного из них выскочила рыжая мышка.

Она хотела спрятаться в густой траве, но мы ее поймали. Хорошо рассмотрели и обнаружили, что это не мышь, а соня. Мы поняли, это – кормящая мать и, значит, там, в скворечнике, ее малыши. Так и оказалось. Их было шестеро маленьких, голых, слепых.

Решили перенести домой все семейство. А чтобы зверьки чувствовали запах родного дома, взяли из скворечника и старую подстилку. Всех поместили в террариум. Мама-соня сначала зарылась в сухую траву, но вскоре вылезла, обнаружила своих малышей и начала облизывать их, устраивать поудобнее. Мы положили соне кусочки яблока, сухарики. Утром обнаружили, что яблоко съедено, а сухарики не тронуты.

Через две недели маленькие сони стали выходить из гнезда. Они обнюхивали все вокруг, обживались. А вскоре стали брать корм прямо из рук.

# 9

Как ни боялись засухи, она все-таки пришла. Небо было донельзя раскалено, и с него почти отвесно падали колющие лучи солнца, а в воздухе уже начинал веять дышащий гарью ветерок. Овес, не поднявшийся еще и на пол-аршина от земли, уже поблек. Просяные поля, едва колеблемые жарким дыханием ветра, настоянного на увядших полевых травах, без устали отливали своими унылыми бледно-зелеными кистями. Почти не заросшие в этом году травою паровые поля печально разнообразили картину. Песчаная земля, которая, по-видимому, некогда особенно избалована дождями, окончательно задыхалась от зноя.

Кое-где попадавшиеся нам навстречу стада еще более усиливали тоскливую неприглядность полей. И только один раз мы заметили возле них пастуха, не спеша идущего за стадом и с видимым усилием тащащего свою палку. Он безучастно посмотрел на нас и путано объяснил, куда нам следует ехать, чтобы попасть на мельницу. Несмотря на раннее время, деревня, через которую мы проезжали, поражала своей пустынностью. Только кое-где на завалинке сидела какая-нибудь старуха да копошились ребятишки, почти не интересовавшиеся нами. Даже собаки и те лаяли как-то нехотя и как будто по привычке. Но вот в отдалении мы увидели небольшой домишко с штукатуренными стенами. Это и было не что иное, как мельница, где мы рассчитывали остановиться на ночевку. Весело выглядывают из ярко-зеленой листвы черепитчатые и камышовые крыши построек, без устали вращается обвешанное маслянистыми каплями замшелое колесо, бешено стучит в амбаре жернов, с приглушенным шепотом плещется речонка, убегающая куда-то в глубь степей. Уж не примерещилось ли все это нам?

# 10 Мой питомец

Как-то весной принес я домой икру, которую нашел в луже, и поместил ее в банку с водой. Уже через несколько дней икринки заметно изменились – в каждой стремительно развивался зародыш. Условия для выклева личинок были благоприятные, и я стал свидетелем этого таинства. Темные существа были похожи на мальков рыб. Первое время они почти не шевелились, сидя на водорослях.

Спокойствие, однако, было обманчиво – чуть позже в сосудах закипела бурная жизнь.

Примерно на пятой-шестой неделе после выклева у головастиков начали расти задние лапки. Передние же развивались незаметно, под жабрами. На последней личиночной стадии развития головастики как бы вытянули свои маленькие передние лапки. Хвосты у них постепенно укорачивались, и отталкивались они все чаще задними лапками. В это время они стали похожи на лягушат, а вернее, на жабят, как позже оказалось.

Со времени выклева прошло около шестидесяти дней. Я поместил их в бассейн акватеррариума, где обитали тритоны, и ждал момента выхода на сушу своих «малышей». И дождался – существа выбрались на влажный песчаный бережок. Передвигались они маленькими прыжками, не забывая навещать родную стихию – воду.

Мои питомцы очень долгое время отказывались от предлагаемой пищи. Двое из них погибли от голода, хотя вокруг было много шевелящихся червячков. Я уже отчаялся, когда последний оставшийся в живых вдруг стал обращать внимание на трубочника, а затем и есть его. Вскоре мой любимец начал хватать с пинцета кусочки мяса. Он стал заметно расти, что очень радовало меня. Я переживал, опасаясь, что его проглотят тритоны: мой питомец был так мал. Однако вскоре он стал очень шустрым и даже отбирал у соседей корм.

Через несколько месяцев жабенок хватал уже все без разбору, будь то червяк или тритон. Он стал опасен для жителей акватеррариума. Пришлось оборудовать ему отдельное помещение. К этому времени он уже стал довольно большим и красивым – на серо-салатовом фоне спинки темно-зеленые пятна различных размеров, окаймленные черными полосами. Брюшко более светлое – на серо-белом фоне салатовые пятна. А какие великолепные изумрудные глаза! Конечно же, это – зеленая жаба.

# 11

В тайге темнеет быстро. И несмотря на то что мы это знали, все-таки темнота застала нас врасплох. Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы мало-помалу продвигались вперед. Было совершенно темно, но, как ни странно, от прожорливых комаров и мошек, летавших вперемешку вокруг нас, спасения не было так же, как и днем.

Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то слева, и нам приходилось идти наугад. К счастью, до ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали устроить ночевку, оставалось, по-видимому, совсем недалеко. И действительно, когда мы поодиночке перешли по узкой жердочке, брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы оказались перед избушкой.

Не теряя ни минуты и в душе радуясь, что расчет наш оправдался и мы в пору добрались до места, мы без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их крест-накрест. Вот и готова наша пахучая, но не очень мягкая постель! Товарищ мой уже не смотрит исподлобья и даже начинает читать стихи, которые учил когда-то на память, сначала шепотом, а потом и в голос, вовсе не подозревая, как он смешон в эту минуту.

С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто предвещая на завтра дождь, и где-то вдали кричит какая-то ночная птица.

# 12

На дворе май, а уже порыжела сирень. Нет дождей второй месяц. Еще не беда для огородов, но предчувствие ее томится в сухом, духмяном от сомлевших трав воздухе.

Торопится добрать стройматериалы для своего жилища оса, грызет дощатую обшивку веранды – только шорох стоит. Торопится накормить своих птенцов воробей: то и дело снует за стреху и обратно. Торопится отцвести декоративная жимолость: над ее бело-розовой, одуряюще запашистой кипенью неутомимо снуют пчелы.

Лишь новорожденной бледно-зеленой гусенице, как видно, некуда спешить средь суеты майского утра. Она зависла над веткой березы. Огляделась, выпустила из себя паутинку, скользнула вниз и снова зависла в жарком токе воздуха, покачиваясь, как на качелях.

Каким ей видится этот мир? Неоглядным торжеством зелени под выгоревшим и потускневшим от обилия солнца небом? Черно-белым росчерком берез? Или той вон, похожей на сытую гусеницу сережкой, что вздрагивает рядом, застив весь свет?

Мне тоже застят весь свет эти березы, что вымахали у крыльца намного выше крыши. И солнечные лучи просеиваются сквозь них лишь зыбким кружевом бликов. И река угадывается едва сквозь трепет клейкой листвы. Но шелест ее для меня – как задушевные речи старого друга.

# 13 Дожди

Неблагоприятная для отдыха погода установилась надолго. Неприветливое небо непрестанно хмурилось. Не прекращаясь ни на час ни днем ни ночью, шли дожди. К сырой погоде я был не подготовлен, так как не захватил с собой на дачу ни плаща, ни непромокаемой обуви, ни даже какой-нибудь незатейливой одежонки, которую не жалко было бы трепать в непогоду. А почва у нас повсюду глинистая, вязкая. Даже после небольшого дождя грязь вокруг непролазная. Сколько ни оглядывал я низко нависшие пепельно-серые облака, но не мог рассмотреть даже ни малейшего проблеска. Незаметно было никакого намека на просветление. Как ни досадно терять драгоценное время летнего отпуска, но, как говорится, ничего не попишешь. И хотя я внешне примирился с тем, что придется отсиживаться дома, однако в душе не мог не надеяться на лучшее. Ведь человек всегда живет светлой надеждой, и это неплохо. Что ни говори, а люди неунывающие – это лучшая часть рода человеческого. Итак, не смея рассчитывать на прекращение дождей, я расположился у окна с недурными намерениями просмотреть не прочитанные за последние дни газеты, ответить на два-три письма.

# 14 Белочка-партизан

Лес старый, деревья высокие, верхушки раскачиваются и шумят. Партизаны разожгли костер. Дым столбом поднялся вверх. И вдруг чуть ли не в огонь упал с высокой сосны какой-то комок. Ребята, сидевшие у костра, схватили его. Это был маленький бельчонок. Он весь дрожал от страха и даже не пытался вырваться. Решили оставить его в отряде, а воспитывать поручили мне, поскольку я год проработала учительницей в третьем классе.

Итак, эта белочка – «подарок с неба», как мы ее окрестили, стала служить с нами, ездила на повозке, где находились продовольствие и рации.

Она очень любила тепло, подолгу спала в рукавице, сшитой специально для нее. Спала она крепко, свернувшись в клубок, и очень смешно прикрывала мордочку пушистым хвостиком, словно одеялом. А проснувшись, зверек любил забираться к кому-нибудь в карман или под шинель. Ел бельчонок варенье, сырые яйца, сало, сухари, консервы и, конечно, ягоды, особенно любил землянику. Не знаю, как он относился к сахару, этого лакомства у нас не было.

Так и ездил с нами бельчонок, участвуя в боевых рейдах и переходах по тылам врага. Когда была спокойная обстановка, я и моя подруга Нина, тоже радистка, отпускали зверька погулять и поиграть. Белочка очень ловко бегала по стволам деревьев, брала с рук угощенье, но давалась не всем, знала только нас и ездового Андрея.

Интересно было смотреть, как она бегает по туловищу коня, быстрыми прыжками несется по спине, по ногам. Лошади вначале вели себя беспокойно, кожа на их теле вздрагивала. А потом они привыкли и спокойно относились к «белочкиным путешествиям».

А однажды зверек забрался на высокое дерево. Неожиданно появилась какая-то крупная птица, стала нападать на бельчонка. Налетели сойки, раскричались на весь лес. Пришлось отгонять птицу выстрелом из пистолета. Она улетела, а белочка мгновенно спустилась к нам в руки. Сердечко ее билось часто-часто. Она юркнула в рукавицу и долго не вылезала оттуда.

Прожила белочка с нами до лета. И один раз случилось непредвиденное… Выпустили мы ее, как всегда, погулять, а тут приказ: срочно покинуть это место. Начался обстрел. У нас не было времени долго искать белочку, еле успели свернуть радиостанцию. Звали ее, звали, но она не появлялась. Так и осталась в том лесу у речки…

Долго вспоминали ее партизаны и думали-гадали: найдет ли

она себе корм, сумеет ли прожить, постоять за себя? Кто знает… Да, и на войне не переставали люди, посуровевшие в тяжелых испытаниях, оставаться людьми, готовыми уберечь от гибели все живое. Неистребима тяга человека к доброте и заботе…

# 15 Мать рек русских

Матерью рек русских издавна называли люди Волгу. Из-под сруба старинной часовенки, близ деревеньки Волгино-Верховье, вытекает неприметный ручеек, через который перекинут бревенчатый мостик.

Проделав путь в три тысячи шестьсот восемьдесят восемь километров, Волга приходит к Каспийскому морю.

Какие только суда не встречаются на Волге!

Тяжело проплывает огромная нефтеналивная баржа, заменяющая собой много железнодорожных цистерн. Вслед за ней тянутся не спеша широкие баркасы с невысокими бортами, доверху нагруженные камышинскими арбузами. Взгляните издали с берега – точь-в-точь огромное блюдо с плодами плывет по реке. А навстречу движется длинная улица, мощеная бревнами. Как полагается, на улице выровнялись, будто по линейке, игрушечные домики. Перед домиком догорает костер, кипит чай в закопченном котелке, колышется на бечевках вывешенное белье – и все это хозяйство медленно движется вниз по реке.

Не поодиночке, а караваном тянутся огромные плоты, насчитывающие по пятидесяти тысяч бревен. Провести такую громадину по своенравным поворотам в течении реки – большое искусство.

На залитой июньским солнцем палубе с комфортом расположились в камышовых креслах пассажиры трехэтажного теплохода, точно серебряного от солнца. Неслышно рассекает он зеленовато-серые волны реки. По сравнению с этим плавучим дворцом неказистым кажется труженик-буксир, толкающий впереди себя или ведущий за собою тяжело груженные баржи.

Бегут скоростные поезда, несутся автомобили по трассам нашей необъятной страны, но Волга по-прежнему величайшая магистраль нашей Родины.

# 16 Кукушечья хитрость

Неподалеку от нашего промыслового стана лопотала листвою тополиная лесополоса, вдоль которой торчали невысокие бетонные столбики проволочной ограды. И вот мы стали замечать, как на эти столбики изредка присаживалась поющая кукушка. Посидит, попоет на одном, перелетит на другой, третий, и так далее, пока не кончится коротенькая лесополоса. Что она, столбики считает, что ли?

Наконец случай помог разгадать столь странное поведение кукушки. Я шел вдоль лесополосы, когда совсем близко от себя увидел низко летящую птицу. «Ку-ку», – пропела она на лету, отбросив у меня всякие сомнения в том, с кем имею дело. Наша кукушка! Причем самец. Многие полагают, что кукуют кукушки-самки, а на самом деле кукует самец, беря на себя бремя неприязни, вызываемой у нас кукушечьим образом жизни.

Птица, которую я заметил, села, как обычно, на один из бетонных столбиков. Вертя хвостом и как бы раскланиваясь на разные стороны, она продолжала свою незатейливую, но всегда волнующую песню. Мне захотелось рассмотреть певца получше. Я пересек лесополосу и по-за деревьями стал осторожно прокрадываться к нему. И вдруг замечаю: я крадусь не один. Впереди меня, меж редких тополиных стволов, тихохонько поскакивает еще одна кукушка! Путь ее зигзагообразен, с частыми остановками для осмотра. Особенно привлекали кукушку заросшие травой выбоины, кочки, валежины. Догадываюсь: кукушка выискивала гнезда!

А тем временем возле кукующего на столбике самца уже беспокойно запорхали и запискляви́ли мелкие певчие птички: парочка желтых трясогузок и расписной красавчик дубровник. Всем троим появление кукушки явно не понравилось.

Таков старый воровской прием у кукушек: пока самец кукует на виду и отвлекает внимание птиц, самка выискивает их гнезда, чтобы наградить яйцом-подкидышем.

# 17

Заря разгоралась. Лучи солнца коснулись верхушек деревьев, позолотили блестящую поверхность озера и проникли в спальню к ребятишкам. Высоко над домом развевается и горит ярким пламенем красный флаг. Скоро подъем. По звуку горна юные спортсмены быстро поднимаются и, застелив аккуратно постели, выбегают на зарядку. В комнате остаются ребятишки младшего возраста. Они не умеют еще самостоятельно застилать свои постельки и делают это под наблюдением вожатой Люси.

На спортивной площадке, построившись по росту в ряд по трое и подравнявшись, ребята застывают по команде «смирно!». Через минуту в воздухе мелькают загорелые руки, и стриженные наголо ребятишки наклоняются, касаясь земли кончиками пальцев. После зарядки они врассыпную бегут к озеру, оглашая его берега звонким смехом.

Малыши, не умеющие плавать, плещутся у берега. Несколько ребят во главе с Юрой, знаменитым лагерным пловцом, направились к плавучему мостику, но, услышав сердитый голос вожатой Люси, поспешили обратно.

После купанья хорошо растереться мохнатым полотенцем. Ежедневная зарядка и обтирание холодной водой укрепляют и закаляют здоровье. А какой аппетит развивается после купанья! Все кажется необычайно вкусным. Ребята с удовлетворением уплетают оладьи, макая их в сметану.

# 18

Мока жил в горах Северного Кавказа. Осенью, когда созревали желуди, груши, другие дикие плоды и ягоды, он спускался в леса, даже выходил в предгорья, а лето и весну проводил, забираясь высоко в горы. Его мать, бурая медведица, погибла, когда он был еще совсем маленьким. Голодного и испуганного, забившегося в густые заросли облепихи, его нашли люди, отогнали своих свирепых собак и принесли медвежонка в деревню. Там, на окраине горного селения, он прожил почти год: лето, осень и зиму. На ночь его запирали в сарае, а день он проводил на дворе, огороженном высоким и сплошным каменным забором.

Когда он подрос и окреп, его стали недокармливать. Неумышленно. Просто ему надо было много пищи, а одинокий старик, его хозяин, не всегда мог его накормить. Мока ел все: хлеб, сухари, мясо, кости, картошку, любые овощи – сырые и вареные, даже траву. И все равно всегда был полуголодным.

Иногда к Моке приходили двое ребятишек. Поиграть с ним. Медвежонок радовался таким посещениям. Но этой весной, когда в апреле и мае все вокруг цвело и зеленело, мальчики приходили всего один раз. Принесли Моке две сладкие булочки, потрепали его по мохнатой коричневой гриве, погладили лоб и щеки – Мока в это время довольно урчал, – потом ушли. Он снова остался один до вечера, пока не пришел старик-хозяин. Человек немного покормил его, сказал ласковые слова.

Однажды ребятишки пришли снова. С ними был третий. Медвежонок съел гостинцы, предложенные ему двумя знакомыми мальчиками, потянулся к третьему. А тот вместо сладкой булочки сунул ему в нос колючую щетку. Мока укололся, взвизгнул и отпрянул, а мальчик громко и весело захохотал. И тут вдруг выяснилось, что у Моки довольно крутой нрав. Он взревел, подскочил к обидчику и ударил его лапой. Дети убежали, а медвежонок долго ходил по двору, потом нашел удобные уступы в каменной кладке забора, перебрался через него и ушел в лес.

С тех пор прошло немало лет. Мока стал могучим крупным медведем. Правда, первую зимовку на воле он едва пережил: чуть не замерз. Но его спасла удачно, хотя и случайно выбранная пещерка, в которую он залег на свою первую зимнюю спячку.

Теперь он был уже опытен, умен и хитер. И, хотя питался в основном растительной пищей, был не прочь и умел при удобном случае задрать оленя или тура. Людей он не встречал, сторонился их следов, запаха. В нем проснулся дикий инстинкт

самосохранения. Благодаря этой своей осторожности Мока спокойно жил в горных лесах и ущельях.

# 19

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть старше меня, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кроватки, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезать друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только взберемся мы на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах – смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха. Да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

*(По С. Ковалевской)*

# 20

Стертые каменные ступени, скользкие от мелкого осеннего дождя, вели вниз, в стиснутые высокими скалами ущелья. Одна из ближних к лестнице скал, округлая и тяжелая, напоминала силуэт доисторического животного. Складчатая спина чудовища покрыта, как шерстью, пучками увядшей травы. Только что пребывали мы в цивилизованном мире высотных зданий, автобусов и троллейбусов, переполненных спешащими людьми, мощеных и асфальтированных улиц и площадей, в мире гигантских сооружений и нескончаемых реклам. Но стоило перебраться через большой неподвижный водоем, как мы нежданно-негаданно очутились в царстве неживой природы. Как ни странно, эта жизнь казалась реальной, а та, отделенная тонкой сеткой дождя, сквозь которую просвечивали контуры современных катакомб, представлялась наваждением. И вот мы прикасаемся к древности, искусно созданной и сохраняемой учеными-экологами.

Мы приостановились у безлюдного берега озера, любуясь открывшимся пейзажем: серебряной ниткой прорезал песчаную гряду ручей, чуть-чуть пожухлая зелень трав обвивала кусты ольшаников, создавая живописный рисунок. Облетающие березы, кустарники – все это образовывало неповторимый ландшафт. Мы стали продвигаться в глубь территории, как вдруг услышали детские голоса. Посторонившись, мы пропустили небольшой отряд ребятишек в непромокаемых курточках и вязанных из разноцветных ниток шапочках. Впереди шагал улыбчивый веснушчатый мальчуган, державший флаг. На бледно-голубом полотнище был нарисован диковинный рогатый жук-олень. Флажки поменьше, тоже с изображением насекомых, несли другие дети.

Но вот мимо нас прошли последние следопыты, и мы расспросили руководителя, наблюдавшего издали за ребятами, о цели их путешествия. Он объяснил нам, что эти дети – юннаты и что все члены общества охраны природы приводят сюда своих подшефных школьников, чтобы с детства привить им любовь к природе, к прошлому своей страны. По прибытии в город мы не захотели идти ни в театр, ни в кино, потому что ничто другое, кроме встречи с живым чудом, не влекло нас.

# 21

В доме готовились к празднику, Женька всем мешал. Он бродил по дому и путался под ногами. Особенно досаждал бабушке. Куда она ни посмотрит – везде перед ней то белый чубчик, то белая макушка. «Ох, Женька, шел бы ты купаться!» – сказала бабушка. И рассмеялась. Знала ведь, что он боялся воды.

Женька обиделся, но все же побрел на речку. Он спустился к воде и хотел по привычке намочить трусы и макушку – вроде купался, и уже зачерпнул было ладошкой воду, как вспомнил бабушкин смех. Бабушка на днях подсмотрела его хитрость. Поэтому он просто плюхнулся на траву. Вот это он очень любил. Еще бы – трава прохладная, ласковая.

Женька лежал и блаженствовал. Солнце сверху так жарило!

Вдруг что-то легонько щелкнуло Женьку по лбу. Он замер. Р-раз, еще р-раз! Щелк! Щелк! Щелк! Кто-то стрелял. Не больно, но все-таки обидно.

Женька огляделся. Никого. Кусты, трава у речки – ничто не качнулось, не шелохнулось. И тут опять – щелк! Щелк! Ну уж это слишком! Мальчик хотел вскочить, как от последнего щелчка по лбу на широкий лист подорожника что-то упало. Женька присмотрелся. Семечко. Круглое, блестящее, точно лаковое. Хотел взять – скользнуло семечко между пальцами и юркнуло вниз, на землю.

Женька растерялся – откуда оно? Привстал и увидел, как шагах в трех от него на стебельке какой-то травины покачивались маленькие плоды. Одни были похожи на журавлиные головки с длинными клювами, другие – на косматые шарики. К одной из космушек прилепилось семечко: точь-в-точь такое же, как то, что отскочило от Женькиного лба.

«Так вот кто стрелял!» – осенило его. Он чуть дотронулся пальцем до плодика – журавлиного носа. Плодик мгновенно взъерошился, и в разные стороны полетели блестящими точками семена. Вот это открытие! Женька забыл про все на свете, даже про бабушкин смех. Он ползал на коленках по лугу и искал стреляльщиков. Находил, примеривался пальцем, кричал: «Р-раз!» – и касался плодика. Если стреляло, вскакивал на ноги и орал: «Есть!»

Гуси, которые до сих пор неподвижно лежали на лугу, повскакивали и переполошно загоготали, стали вперевалку шлепать по траве, пока, наконец, не бросились в воду. Они хлопали крыльями по воде, взбивая белую пену, во все стороны летели брызги, как те блестящие семечки. И Женька шагнул к

ним. Вода оказалась прохладная и ласковая, как трава. Он замер. По-над дном юркнула стайка крошечных мальков. Из крапивной стены – берега речки – выглянули голубенькие незабудки.

Женька замахал руками, как гуси крыльями, тоже взбил белую пену и победно взглянул на стреляльщиков.

Среди цветов стояла бабушка. «Не двигайся!» – приказал ей внук, вылез на берег и пополз искать стреляльщиков. Бабушка про такое не знала. Честное слово! «Обыкновенные герани – и надо же!» – удивилась она.

Они сидели на лугу. Женька был совершенно счастлив. И бабушка тоже.

# 22

Из-за поднявшейся метели я не мог выехать раньше, как предполагал. Было совсем поздно, когда мне подали повозку, запряженную парой лошадей. Кучер вскочил на козлы, и мы покатили. Какое наслаждение мчаться на бойких лошадях по укатанной снежной дороге! Удивительное спокойствие овладевает тобой, и приятные воспоминания роем теснятся в голове. Недоверие, сомнение – все осталось позади. Равнина, расстилающаяся перед глазами, блестит алмазами, на горизонте догорает бледная заря. Скоро поднимется луна, озарит таинственным светом всю окрестность. Опираясь на спинку саней, плотно запахнувшись шубой, гляжу на бесконечную темную ленту дороги. Вот в отдалении показались две точки, они то исчезают в ухабах, то, обгоняя друг друга, двигаются нам навстречу. Точки приближаются и превращаются в два воза, на которых сидят закутанные фигуры.

Мой кучер здоровается, о чем-то расспрашивает их и, повернувшись ко мне, говорит: «Не опоздаем, поспеем к поезду».

Снова впереди пусто и тихо, только слышится непрерывный скрип саней да храп лошадей. Утомленный разнообразием местности, я погружаюсь в какой-то сладкий сон. Мне кажется, что сон мой продолжался несколько мгновений, но, проснувшись, убеждаюсь, что мы уже добрались до цели нашего путешествия. В долине виднеется городок, освещенный рядами фонарей, а на западе догорают звезды.

# 23

Почему люди все время недовольны телевидением, этим величайшим даром цивилизации? Потому что это дар данайцев. В нас бунтует подавленная, не находящая реализации часть нашего живого существа. Даже в новогоднюю ночь, как невольники на галерах, мы прикованы к телеэкранам и видеомагнитофонам, неспособные сами ни петь, ни плясать, ни кричать, ни смеяться, ни играть, ни разыгрывать друг друга, – фактически не общаемся, а только смотрим, смотрим, в промежутках немного пьем и жуем, жуем, жуем…

Телевидение – символ всей современной аудиовизуальной культуры. Гибельная суть этой новой «культуры» в том, что она лишает человека его собственного предметного мира, унося туда, где он существует только как фантом. И есть уже телевидеоманы, «электронные почтальоны», которые забыли о естественных потребностях живого активного существа, чувствуя себя вполне хорошо без них. Умерли – и довольны. Впереди – компьютерная наркомания, которую называют пока «пребыванием в виртуальной реальности».

В подсознание – основную творческую лабораторию человека – попадает только то, что прошло через чувства. Через чувства проходит прежде всего живое, непосредственное воздействие другого человека, природы, мира, а информационное воздействие затрагивает только мышление, «кору». От хоккея по телевизору остается легкий поверхностный след, который, как след самолета, быстро рассеивается с новыми впечатлениями, смешивается с ними. Хоккей на стадионе, даже наблюдение, а тем более собственную игру, помнит все тело, весь человек. И так любые события. По телевидению мы были везде, на всей планете, и слышали обо всем. Но что это дает? Общее впечатление без переживания. «Мы многое из книжек узнаем, но истины передают изустно», – пел В. Высоцкий. Многие удовлетворяются жизнью без истины – живут как наблюдатели, «рядом с бытием». Некоторые уже и не нуждаются в переживании – роботообразные, другие, напротив, прибегают к искусственной имитации переживания – наркообразные.

*(По В. Кутыреву)*

# 24

Дни были невыносимо жаркие, но в небольшом дубовом лесочке стояла живительная свежесть. Упругие глянцевитые листья молодых дубков свежи, как будто их только что обмакнули в зеленый воск. Из-под пестрой трафаретной листвы папоротников глядит ярко-красная волчья ягода и опавшие желуди. Вверху блещет сухая орешина, вся золоченная светом, на темно-коричневой торфянистой почве в изобилии произрастают целые семьи грибов. Кругом сонное царство, только стрекочут в траве неугомонные кузнечики да тащат соломинки смышленые работящие муравьи. Из чащобы на опушку выскочил полинялый заяц, но, сделав прыжок, тотчас же решил пойти на попятную и бросился наутек.

Высоко в небе плавает ворон. Вот долетает издали, как брошенная горстка гороха, грустный вороний крик. Что он высматривает оттуда? Может быть, он устал парить в поднебесье и хочет этой студеной воды из ручья? А вот издалека послышалось словно пение жаворонка.

И вдруг слышится тяжелый грохот. Опять удар, нива заколебалась, и по ней полоснуло холодом. К черной туче, которой заслонены восток и юг, книзу мало-помалу присоединяются тучки поменьше. По верхнему краю тучи, которая кажется непроглядной, блеснула огненная нить серебряной молнии. Вихрь свистнул, защелкал, и по бурому полю зреющей ржи заблистали причудливые светлые пятна.

И вдруг тихо. Ни молний, ни ветра. Вот и недавно реявший ворон, бросившись вниз, закопошился в посеребренной листве дуба. На траву упали первые тяжелые капли, и барабанщик-дождь пустился вовсю.

# 25

Верстах в трех от Дранкина – Большой омут. Там когда-то была мельница. Мельница сгорела, а плотина и омут остались. По рассказам дяди Саши, жила в этом омуте огромная, как бревно, щука с зеленым мохом на спине от старости.

Кукушкину уж очень захотелось увидеть эту щуку, ну хоть бы одним глазком.

В одно из июльских воскресений отправился Кукушкин к Большому омуту.

Он шел лесной тропинкой по прохладной сыроватой земле, перескакивая через корни и валежины. Вот и плотина, заросшая ольшаником и хмелем, крапивой, кустами малины и смородины. Кукушкин пробрался ближе к насыпи и увидел темную воду, покрытую зеленой ряской. Над самой водой нависала старая корявая ветла. Кукушкин забрался на нее, лег животом вниз в развилку между сучьев и стал смотреть. Было очень тихо, лишь где-то рядом ворковал вяхирь да чуть шелестела осока.

И вот из осоки выплыла утка, а за ней семь маленьких желтых комочков. Они неслышно передвигались по воде, оставляя в зеленой ряске темные полосы. И вдруг утка с криком метнулась в сторону. Вода под ней взбугрилась, выставилась над водой огромная зубастая пасть и, как показалось Кукушкину, громко щелкнув зубами, проглотила утенка. Проглотила и скрылась.

Все это произошло мгновенно. Кукушкин вскрикнул, перепугавшись не меньше утки, и с корявой ветлы шлепнулся в бездонную воду. Он не помнил, как заколотил по воде руками и ногами.

Захлебываясь, он все-таки добрался до берега и вылез в крапиву, дрожа от страха и холода.

Так он научился плавать.

*(По М. Дудину)*

# 26

Прошлым летом мне пришлось побывать в одном заволжском селе, затерянном в дремучем смешанном лесу, простирающемся на много километров. Село было небольшое, но какое-то веселое и оживленное, как будто праздничное.

При самом въезде в село нас встречает не стихающий ни днем ни ночью шум лесопильного завода. Здесь сложены стопками брусья, навалены бревна, желтеют кучи еще не улежавшихся опилок. А вокруг села ни на минуту не умолкает разноголосый птичий шум.

Чего только ни дает человеку этот зеленый богатырь! За что ни возьмешься, все так или иначе связано с лесом. Гнутую мебель, кованые сундуки, бочонки – все это делали местные жители – исконные деревообделочники. А вокруг высятся почти не освоенные пока леса. Да это и немудрено: ведь рабочих рук не хватает, хотя недавно вернулись в село демобилизованные ребята.

Стоит вам углубиться в пустынный, казалось бы, бор, и вы сразу увидите стриженые мальчишечьи головки, услышите певучую девичью перекличку. Это грибники, ягодники. Хотя только вчера закончился давно уже не нужный дождь, а ветки обвешаны не высыхающими целый день каплями, весь лес наполнен народом.

Но в самой непролазной чащобе вы можете столкнуться с хмурым, не нуждающимся в попутчиках стариком, который в присутствии нежданного и незваного гостя с деланным безразличием будет собирать ядреные подосиновики с крутыми шляпками и сконфуженно покашливать. И все лето несут в магазин сушеную малину, вяленную на солнце ежевику, бруснику, грибы.

# 27 Беличья сушилка

За песчаным курганом выбрался я в просторный лиственный лес. Облокотился на дерево, из-за воротника сосновые иголки достаю, от паутины очищаюсь. Чуть белку не прозевал. Она легко, бесшумно мимо меня пробежала, хвост торчком, в зубах гриб держит. Возле старого дуба остановилась и в дупле спряталась. Не успел глазом моргнуть, а белка уже на ветке сидит, лапками мордочку чистит. Неужели я прозевал, не заметил, как из дупла выскочила?

Белка спрыгнула на землю и опять в сосновые заросли за маслятами помчалась. Меня любопытство взяло. Куда же она свой грибок положила?

Присел возле дупла, слышу, кто-то свистит-посвистывает. Нашел маленькое перышко птицы, поднес к ладони. Перышко в дупло ветерком затянуло, и вот оно уже над головой опускается, в воздухе кружится. Здорово получается. Ствол дуба прогнил, в нем ветер завывает, свои песни высвистывает. Заглянул в дупло. Оно вверху круглым отверстием светится. На колючие щепы-занозы белка маслюки наколола, и висят они снизу доверху, на сквозняке сушатся. Разве лучшее место подберешь? Дождь в дупло не попадет, его толстая ветка прикрывает. Грибы быстро сохнут, не портятся, найти их тоже не сразу найдешь. Там они до зимней стужи сохранятся.

Возле беличьей сушилки я положил десятка полтора отборных маслят. Это белочке от меня подарок.

# 28

Чопорный черт в черной шелковой одежонке сидел на жестком диване и пил дешевый желудевый кофе, изредка чокаясь со своим отражением в тяжелом глянцевитом самоваре, стоящем на парчовой скатерти шоколадного цвета. Черт был большой обжора и, несмотря на изжогу и больную печенку, объедался крыжовником со сгущенным молоком. Поев и погрозив своему отражению пальцем, черт, молодцевато встряхнув челкой, пустился танцевать чечетку. Цоканье его копыт было столь сильным, что в цокольном этаже думали, что наверху гарцевала лошадь. Однако черт был не очень искусным танцором и, совершив один не совсем удачный скачок, врезался в самовар и обжег свой пятачок, покрытый мягкой шерсткой. Ожог был очень тяжел. Огорченный черт куцей овцой кинулся к бочонку с моченными яблоками и сунул в него обожженный пятачок. «Правду говорят, что небереженого Бог не бережет», – чертыхнулся черт чертовской пословицей.

# 29 О культуре

Что такое культура, которую можно противопоставить агрессивной «массовой» полукультуре? Есть понятия, которые с трудом поддаются определению. Тем более неоднозначно такое явление, как культура. Культура труда, поведения, культура нации, народа, культура человека, человечества. Сколько различных оттенков в понимании культуры во всех этих словосочетаниях!

Возьмем только одно, необходимое нам в дальнейшем словосочетание – «классическая культура» или даже проще: «классика» – и остановимся на классических произведениях. Классические произведения – это те, что прошли испытание временем, те, что остались современны и для нас.

Классика – это то, что остается постоянным в мировой культурной традиции, продолжает участвовать в жизни культуры. А самое главное – она воспитывает, делает чище, содержательнее каждого человека, который к ней приобщается, причащается к ней. В каком смысле «содержательнее»? Содержательнее культурным опытом. Классические произведения литературы позволяют прожить не одну жизнь. Классическая поэзия обогащает человека своим лирическим опытом, обладает врачующими свойствами.

Культурный человек – это не тот, кто много читал классических произведений, много слушал классическую музыку и т. д., а тот, который обогатился всем этим, которому открылась глубина мысли прошедших веков, душевная жизнь других, который многое понял и, следовательно, стал терпимее к чужому, стал это чужое понимать. Отсюда приобрел уважение к другим народам, к их культуре, верованиям.

Итак, люди, ставшие терпимее к чужому на основании знаний бессмертного в искусстве и в философии, умеющие открывать на основании своих знаний и культурного опыта новые ценности в прошлом и настоящем, – это и есть люди культуры, интеллигенты. Интеллигенты – это не просто люди, занятые умственным трудом, имеющие знания или даже просто высшее образование, а воспитанные на основе своих знаний классической культуры, исполненные духа терпимости к чужим ценностям, уважения к другим. Это люди мягкие и ответственные за свои поступки, что иногда принимается за нерешительность. Интеллигента можно узнать по отсутствию в нем агрессивности, подозрительности, комплекса собственной неполноценности, по мягкости поведения. Агрессивен только полуинтеллигент,

теряющий себя в шаманизме «массовой культуры».

*(По Д. Лихачеву)*

# 30

Именинник бешено вопил, исступленно размахивая над головой рваным башмаком, стащенным второпях с ноги насмерть перепуганного соседа. Изумленные гости и родственники в первую минуту ошеломленно застыли, но потом под градом масленых вареников, пущенных в их сторону взбешенным именинником, вынужденно отступили к отворенным дверям. «Изменники! Подсунуть мне бесприданницу, за которую никто гроша ломаного не давал!» – отчаянно визжал он, возмущенно скача на кованом сундуке, застеленном продранной клеенкой. «Она невоспитанна и необразованна, неслыханно глупа и невиданно уродлива, к тому же и вовсе без приданого», – кричал он, швыряя драный башмак в недавно купленный соломенный абажур лимонного цвета. Брошенная вслед за ним палка копченой колбасы угодила в стеклянную вазу, наполненную дистиллированной водой, и вместе с ней рухнула на коротко стриженную, крашенную под каштан голову обвиненной во всех грехах бесприданницы, с уязвленным видом жавшейся у двери. Та, раненная в голову колбасой, картинно взмахнув обнаженными по локоть руками и сдавленно пискнув, повалилась в квашню с замешенным тестом, увлекая за собой рождественскую елку, увешанную слюдяными игрушками, посеребренными сосульками и с золоченой звездой на самой макушке. Восхищенный произведенным эффектом, именинник упоенно пританцовывал на выкрашенном масляной краской комоде, инкрустированном тисненой кожей, куда он перебрался с сундука непосредственно после падения дамы для лучшего обзора кутерьмы, вызванной его экзальтированным поступком.

# 31 Байкал

Мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно – на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала – это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами – в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно – он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале – словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в заповедных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удесятеренной надеждой: там, впереди, обетованная жизнь…

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л. Н. Толстой записал: «Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благости – старая наша беда.

*(По В. Распутину)*

# 32 Перед экзаменами

Приближаются весенние экзамены, и мы с братом Сашей усиленно готовимся к их сдаче. Саша учится в университете, а мне еще далеко до аттестата зрелости: в этом году мне, может быть, удастся получить свидетельство об окончании восьмого класса.

Из-за болезни я не был в школе два месяца и вследствие этого очень отстал. Во что бы то ни стало мне необходимо повторить всю программу, пройденную в продолжение года. Я рассчитал, по скольку страниц надо читать в день, но мне никак не удается выполнить эти расчеты. Стоит только усесться за учебник, как в голову сами приходят мысли о стадионе. Хорошо бы сыграть в волейбол или потренироваться в беге – в прошлом году я был чемпионом школы в соревнованиях на короткую дистанцию.

Неплохо сбегать с компанией сверстников на берег Волги, к речному вокзалу, или забраться в палисадник и почитать что-нибудь о кораблях, караванах, необыкновенных приключениях.

Саша весь поглощен занятиями: что-то подчеркивает карандашом в брошюрах, выписывает цитаты из сочинений классиков, иногда читает вполголоса об агрессиях, капитуляции, конгрессах и еще о чем-то совершенно непонятном.

Я сажусь за стол и тоже читаю о меридианах и параллелях, о кристаллах и элементах.

Но начинается трансляция матча со стадиона «Динамо», и я замираю над недочитанным параграфом. Саша тотчас выключает радиоприемник.

Я старательно решаю уравнения с двумя неизвестными, но все равно слышу и шум трамваев, и крики девчонок, скачущих на тротуаре. В отчаянии я ухожу на кухню, но здесь мне мешает сосредоточиться наш пес Дружок, сидящий в конуре под окном.

# 33

Опершись на фортепьяно, протодьяконша в колье и пеньюаре, отделанном беличьим мехом, пела низким контральто арию из оперы «Маньчжурская обезьяна», томно поглядывая на сидевшего в бельэтаже флигель-адъютанта, небрежно жевавшего монпансье. Хотя решительного объяснения между ними еще не произошло, но по всему было видно, что оно не за горами: уж слишком фамильярно – по мнению раскладывавшей пасьянс почтальонши с изъязвленным оспой лицом – поглядывал во время последнего котильона этот субъект на бедную протодьяконшу. Впрочем, сама певунья была без памяти от этого «славного кабальеро из Севильи», как она его именовала, еще с того вьюжного вечера, когда он с видом отъявленного злодея разъезжал по набережной на необъезженном коне по кличке Дьяволенок, а она мирно прогуливалась, держа под руку съежившегося от холода подьячего, серьезно разъяснявшего ей смысл средневекового барельефа, изображавшего испанскую донью в объятьях некоего сеньора. С каким-то неизъяснимым блаженством вспоминала протодьяконша с тех пор эту минуту первой влюбленности и всякий раз, ложась спать, клала в изголовье постели медальон с портретом флигель-адъютанта и, пряча свой копьеобразный нос в кроличьем воротнике пеньюара, предавалась сладким мечтаньям.

# 34 Велосипед сегодня и завтра

Всемирный велобум, охвативший практически все развитые и развивающиеся страны, в полной мере подтверждает предположение о том, что грядущее столетие будет веком велосипеда. По прогнозу американских специалистов, уже в первой четверти XXI века двухколесные педальные машины начнут вытеснять автомобили и постепенно станут основным средством передвижения. Обоснованность подобного прогноза подтверждает общая картина происходящего. В США и Германии – безусловных мировых лидерах по количеству легковых автомобилей на каждого жителя – ежегодно продается велосипедов больше, чем автомобилей. Бесконечную вереницу велосипедистов можно наблюдать на дорогах Дании, Голландии, Швеции и других стран Европы. В Японии практически каждый второй житель регулярно ездит на велосипеде, а Токио в часы пик буквально забит велосипедистами. Каждый день 500 миллионов человек ездят на велосипеде на работу в Китае. Во многих европейских мегаполисах вводится запрет на автомобильное движение в городских центрах и открываются бесплатные пункты проката велосипедов.

Невиданная популярность велосипеда не случайна, во многом она связана с негативными последствиями автомобилизации. Дело в том, что автомобиль, завоевав практически всю планету, стал главным потребителем невосполнимых природных ресурсов (нефти), загрязнителем земли, воды и воздуха и «производителем» шума. В автомобильных авариях ежегодно погибает людей больше, чем в иных кровопролитных войнах. Главная же опасность автомобиля, как утверждают медики, в том, что он отучил нас самостоятельно двигаться. Люди начинают понимать это и, чтобы бороться с гиподинамией, пересаживаются на велосипед.

Около ста лет назад одновременно с электромобилями были сконструированы и первые электровелосипеды. Но очень скоро и те и другие, не выдержав конкуренции, уступили дорогу автомобилям, а сами надолго были забыты.

Второе рождение электровелосипеда произошло буквально на наших глазах. В 1994 году японская компания «Ямаха» начала выпуск нового велосипеда с дополнительным электроприводом, а сейчас конструкторы фирмы разрабатывают модели электровелосипедов уже третьего поколения.

Специалисты прогнозируют, что через год-два на электровелосипедах будут ездить больше миллиона японцев.

Сегодня электровелосипеды выпускают все крупные велостроительные компании Азии, Америки и Европы.

*(По Л. Попову)*

# 35 Детство Антоши Чехонте

Антоша – ученик таганрогской гимназии – взялся за приготовление уроков по латыни на завтрашний день. Но только он обмакнул перо, как входит отец: надо, значит, идти сидеть в лавку. Антоша натягивает старенькое пальтецо и рваные кожаные калоши и идет вслед за отцом. Лавка, где приходится учить и недоучивать уроки, отнюдь не веселое место, а главное, в ней холодно, так что у непоседливых мальчиков-приказчиков, которые от январского мороза сутуловато поеживаются, лица стали серо-синими. Решетчатое окно обындевело, двустворчатую дверь тоже покрыла изморозь.

Антоша, не переставая плакать, взбирается на увесистый ящик из-под казанского мыла, прислоняется к груде мешков с крупитчатой мукой. Завтра – единица, а потом строгий нагоняй от отца, который все объясняет лишь леностью и рассеянностью. Антоша, который сидел за прилавком будто прикованный, только издали видел заманчивую жизнь сверстников, живущих по-человечески.

А вспыльчивый отец и не подозревал, как были бы счастливы его дети, избавленные от сидения в лавке, от всяческого страха быть высеченными, от созерцания подзатыльников, и не пустячных, которые получали несчастливые мальчики нарочно в присутствии публики. А ведь Антоша не мог без слез видеть, как бьют извозчичью лошадь!

Скучное сидение в лавке продолжалось и летом, когда пряные запахи привлекали в лавку тучи назойливых мух и они сплошь покрывали и дощатые стены, и сводчатый потолок.

Но по природе отец был вовсе не злым человеком, скорее, наоборот, добрым, и впоследствии, когда жил у сына – уже известного писателя – и в его присутствии вспомнили о розгах, он виновато ответил: «Мало ли что было в тогдашнее времечко».

# 36

Среди развалин древнего Херсонеса висит над морем колокол, установленный на невысоких, но прочных столбах, пропитанных смолою. Как ни густы бывают студеные осенние туманы, моряки найдут дорогу по размеренным, вовсе не торопливым ударам колокола. Когда-то этот колокол, на котором высечены подлинные греческие письмена, был захвачен чужеземцами и едва ли не сто лет пробыл на чужбине, пока не вернулся наконец на родину.

Когда погода была безветренна, смотритель, не торопясь, сворачивал папиросу из мелкокрошеного табака, надевал форменную бескозырку и почти ненадеванный бушлат и шел к морю. Затем старик возвращался домой, и ни с чем не сравнимый запах моря сменялся запахом свежей золы и печенной в жару картошкой.

Весной тоже случались штормы, но ветер тогда дул не холодный, а теплый и ласковый. Приходили к колоколу не занятые службой матросы, прислушивались к его неумолкающему гулу, не спеша думали о чем-то своем. Тяжелый, почти не двигающийся от ударов, он гудел обиженно и приглушенно, окаченный волной. А когда море не доставало до него, звенел весело и задорно.

А в развалинах жили ящерицы. С деланным равнодушием, греясь в лучах полуденного солнца, они чутко оберегали жутковатую тишину умершего, никому уже не нужного города. Море тогда бывало почти неподвижным и ровным, как синеватое вороненое блюдо. И белые лепестки цветущих слив и вишен осыпали тогда развалины.

# 37 Следы

Красив зимний лес. Хорош он своим здоровым чистым воздухом. Но меня привлекает еще и потому, что люблю распутывать следы его обитателей. Снег имеет прекрасное свойство записывать все, что происходит в лесу. Конечно, для этого необходимо знать, что за зверь или птица расписываются на снегу.

А это что? Глубокие большие следы распаляют воображение. Может, медведь вылез из берлоги не вовремя? Или таинственный человек прошел тут? Не будем торопиться с выводами, а посмотрим на молодые березки вдоль следов. Так и есть: веточки их обрезаны, словно ножом. Да ведь это же лось здесь кормился!

Из ельника попадаю снова в березняк. И опять новые, необычные следы. Сразу вспоминаю давно происшедший случай. Как-то на одной из первых охот я обнаружил лунку в снегу. Из книг знал, что боровая дичь зимой большую часть времени проводит в снегу. Подошел ближе, но птица не вылетела. Я уже засомневался и засунул носок лыжины в лунку и чуть не сел от неожиданности: лыжина выбросила вверх иссиня-черного косача.

От куста к кусту, словно цепочки, тянутся куропаточьи следы. Припушенные лапки на снегу оставляют нечеткие крестики. Вот и лунки, здесь куропатки ночевали. Но почему-то взлетели слишком поспешно. Да это рыжая плутовка хотела полакомиться белой курочкой. Как вижу, лиса осталась ни с чем.

Лыжи несут меня дальше.

Темное отверстие с пятикопеечную монету на чистой целине. Отсюда пролегли через полянку следы полевки и оборвались… Куда же пропала мышь? Не улетела же она? Внимательно изучаю оборванный след и замечаю слабые отпечатки больших крыльев. Все ясно: бедную мышь унесла бесшумная сова.

# 38

Весь следующий день прошел в напряженном ожидании норд-оста. На сигнальной мачте с рассвета висел штормовой сигнал – черный конус и черный квадрат.

Каждый ждал шторма по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны. Серо-голубые военные корабли крепче швартовались к ярко-красным плавучим бочкам. Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконными тряпками стеклянные линзы фонарей. Ничего не делали только дворники: они ожидали, что ветер выметет и продует насквозь Севастополь.

Устав от бесплодного ожидания бури, я поехал на Северную сторону. В песчаных прибрежных пещерах, выбитых в желтых сухих утесах, жили рыбаки – загорелые оборванцы с женами и полуголыми детьми. Грязно-серые сети и развешенная на бечевках рваная роба дополняли пейзаж.

Вдали, на заднем плане, за лесом мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, желтела степь, поросшая пропыленной травой. По ней бродили псы – старожилы и владетели этих рыбачьих и крепостных берегов.

Дворы напоминали склады декораций. Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Дети гоняли обручи. Эта игра свойственна всем широтам земного шара. На пустырях валялись остатки реквизита: разбитые глиняные кувшины, жестяные банки, как будто высушенные букеты и поломанные весла. Чайки сидели на чугунных шарах – пустых минах, изъеденных ржавчиной. Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты. На них развевались флаги.

Я был уверен, что флаги пахнут, как выстиранное белье. Недаром их беспрестанно обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные брошенные форты остались на Северной стороне со времен севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

*(По К. Паустовскому)*

# 39 Шуба Земли

Облака над землей – это шуба Земли. Когда земля укутана сплошными облаками, ни днем, ни ночью большого мороза не жди.

Но вот уплыли облака и обнажили землю. К вечеру уже хозяйничал мороз. Пришла ясная и студеная ночь. В такую безлунную морозную ночь звезды горят ярче, они словно гуще и крупнее, чем обычно. Звезды весело мигают, но нам кажется, что им холодно и они в ознобе дрожат.

Трещат в стылом воздухе деревья, прячется все живое, и лишь зайцы топчут снег в садах, обгрызая кору с деревьев.

Наконец неслышно приходит утро. На безоблачном горизонте просыпается солнце, и его огромный оранжевый шар вползает на небо. По обе стороны солнца горят воздушные столбы. Иногда огненный столб один, и стоит он, как высокая рыжая шапка, на макушке солнца. В народе говорят: «Солнце встало в огненных мечах – быть большому морозу».

Но если прихлынут облака и окутают землю, как шубой, став преградой между бесконечностью холодного космоса и землей, мороз сбавляет накал.

# 40

Мы выбрали небольшую равнину, прогретую нежарким в это время солнцем. Если посмотришь направо, на лиственный склон горы, то среди медно-красной листвы увидишь, как среди домов кое-где светятся золотые кроны деревьев. Внизу трава еще зеленая, как будто молодая, а меж голубоватых камней, как полированная, блистает вода. В стеклянной синеве тихой заводи вода приобретает темный цвет, медленно кружит опавшую листву и затем мчит ее дальше по каменистому ложу.

Виноград вприкуску с хлебом, особенно под теплым небом, кажется необыкновенно вкусным. И, тут же можно прямо пригоршней напиться осенней, студеной, как драгоценное вино, воды. Рядом с нами лежат пока еще не разобранные удочки и пол-литровая банка с икрой.

В одном месте вода бурлит огромными клубами, чуть ли не фонтанами, пытаясь растечься вширь, но, стесненная каменными берегами, устремляется вперед, собственно, летит, обрызгивая прибрежные камни. Едва только я опустил удочку в самое отчаянное клокотанье, как почувствовал, как меня тянет вниз.

И вот из потока, извиваясь на крючке, облегченно выскочила серебряная рыбина. Особенно волнующим, истинно красивым было сочетание летящей волны и напряженной лески, когда слышится гневный рывок пойманной форели.

Искренне обрадованные неожиданно богатым уловом, мы немедленно тронулись в путь. После такой рыбалки невольно замечаешь каждую заводь, отмеченную обыкновенно более густым цветом.

*(По В. Солоухину)*

# 41 Дружная семейка

Заканчивался морозный денек. Красное солнце сначала ушло в дымку на горизонте, потом мелькнуло огненным краем диска между сопок и скрылось. Мне оставалось пройти вдоль обрывистого берега реки и выскочить на укатанную лыжню почти рядом с зимовьем.

С обрыва свисали трава, корневища растущих на нем деревьев. Здесь же струился незамерзающий ручеек, и испарения от него густо покрыли инеем кромку обрыва. Мне показалось, что под козырьком обрыва что-то пискнуло. Я нагнулся посмотреть. Почти в лицо мне порхнули две-три маленькие птички.

Тут же замечаю пушистый комок величиной с шапку. Он как бы висит в переплетении корней под обрывом. Мгновенно соображаю, что это сбившиеся в клубок – так теплее в морозную январскую ночь – синички. Хвостики торчат во все стороны клубка: сидят синички плотно, одна к одной, на корешках.

Плавно, без резких движений, я отошел от обрыва. Те, что вылетели, пискнули несколько раз, покрутились и тоже скрылись под обрывом. Такой дружной птичьей семейке и суровая зима нипочем.

# 42

Отблистали молнии, отгрохотала канонада грома. Яростный барабанщик, дождь, сначала приостановил, а затем и совсем прекратил свою трескотню. Стихии больше не спорят, не борются. Буря отбушевала, атаки рвавшихся со всех сторон ветров отражены деревьями. Их верхушки не мечутся больше из стороны в сторону. Они резко вырисовываются на очищающемся небе, чуть-чуть колышутся. Дышишь не надышишься чудесной свежестью.

Расстроенные, разгромленные полчища туч уносятся с места сражения. Сейчас должно появиться из-за облачка солнышко. Оно уже выглядывает верхним краешком. Выпрямляется освеженная рожь, благодарно трепещет глянцевая древесная листва. Все живое вновь суетится и мечется. С новым азартом стрекочет кузнечик, в медвяных чашечках цветов возятся деловито пчелы. По соломинкам, как по лестнице, шествует жучок и важно расправляет свои миниатюрные крылышки. Над камышом ручья кружатся темно-синие и бирюзовые стрекозы. Шмель начинает жужжать и нудно проповедовать что-то не слушающим его насекомым.

Из ближних рощ, с пашен и пастбищ – отовсюду доносится радостная птичья разноголосица. Природа не нарадуется: чудесный прошел дождь, теплый, урожайный. Скоро теперь появятся грибы. Любители грибного спорта, приготовьтесь к грибной кампании! Поставьте за правило в эти дни не жалеть ни времени, ни сил. Заметьте, что раннему грибу нравится расти и наливаться соком у лесной опушки, а не в глубине лесных чащ.

Встаньте на рассвете и направьтесь в перелесок. Никто из вас не пожалеет о большом размере корзины. С утра на следующий день после грибного похода вам будет казаться, что ноги одеревенели, спина окостенела, что все лесные растения колются и все насекомые жалятся, но через 15–18 минут вы приободритесь, и все будет по-прежнему, как вчера. Экономьте силы с утра!

# 43 Лиса ловила рыбу

С детства всем знакома сказка, как лиса учила волка рыбу ловить. А вот какую историю рассказали мне на высокогорной станции в Киргизии.

Зимой в заснеженной и морозной котловине развлечений для местной детворы не так уж и много. Одно из них – подледный лов на местных затонах. И вот отправились однажды утром мальчишки на речку гальманов половить, а повезет, так и быстрого османа на крючок подсечь. Пошли ребята за рыбкой, а пришли к удивлению взрослых с… лисой! А произошло вот что.

Подошли рыболовы к дымящимся на морозе лункам-прорубям, смотрят – из одной хвост лисий торчит. Почти как в той сказке, только тут сама плутовка в прорубь, как в нору, залезла, а хвост – наружу. Залезть-то в глубокую лунку лиса смогла, а вот обратно выбраться не сумела. Так всю ночь в проруби и просидела бедолага.

А загнал плутовку в ледяную ловушку голод. Обычно взрослые рыбаки, поймав сорную рыбешку – гальмана, оставляют ее на льду у лунки или бросают снова в прорубь. А лед на Сусамырке толстый, лунки глубокие: случается, брошенная мелочь не долетает до воды, прилипая к ледяным стенкам проруби. Видимо, за такой вот примерзшей ко льду рыбешкой и сунулась в прорубь рыжая, да не рассчитала, что лунка глубокая, а стенки ее скользкие: туда залезешь, обратно не выбраться. Так вот и ловила Патрикеевна рыбку, а попалась сама.

# 44

Снег, не перестававший сыпаться, казалось, со всех сторон, слепил глаза и словно хотел остановить Василия, но он непрестанно всматривался вдаль, где, казалось, по временам на миг мелькал брезжащий свет, и гнал лошадь не переставая.

Он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя перед собой, кроме головы лошади, пока не зачернелось что-то перед ним. Сердце радостно забилось в нем, и, уже видя не заметенный снегом заборишко и даже скворечник над домом, он быстрее погнал лошадь.

Но черное это было не стоящее, а шевелилось, и было не деревня, а обвешанный комьями снега и стелющийся под ветром обындевевший куст.

Не обрадованный видом этого куста, Василий стал сильнее погонять лошадь, не замечая того, что взял вовсе не правильное направление. Лошадь заупрямилась и, хоть Василий то усовещивал ее словами, а то порол и потчевал кнутом, тянула вправо от пути, который он выбрал.

Опять впереди что-то зачернело. Он обрадовался, уверенный, что теперь уже, наверное, деревня. Но это был точь-в-точь такой же чернобыльник, мучимый немилосердно студеным ветром, который спутывал его ветви крест-накрест.

Ошеломленный, Василий остановился, пригляделся, и даже такого притерпевшегося ко всяким превратностям судьбы, такого стреляного воробья, как он, все-таки охватил ужас: он увидел еще почти не заметенный санный след. Он, по-видимому, кружился на небольшом пространстве.

# 45 Глубокие корни

За селом, по склонам оврага, виднеются заросшие травами противотанковые рвы, траншеи, ямы-воронки. Сюда сбегаются ребятишки поиграть в прятки, в войну «понарошку».

Перед одной такой воронкой я остановился. Откосы ее пестрели колокольчиками, одуванчиками, шляпками ромашек. А на самом дне пышно расцвел куст шиповника.

Но самое впечатляющее, что бросилось в глаза, это высокие ивы. Поднялись они над воронкой и закрыли ее густой зеленой кроной.

Помню, до войны здесь росло старое, неизвестно кем посаженное дерево. Потом, когда рядом упала бомба, ствол и ветви его разлетелись в стороны на десятки метров, а на том месте, где стояло дерево, образовалась глубокая воронка. По откосам ее торчали лишь обугленные корни – жалкие остатки старой ивы.

Но прошел год, и люди увидели, как из воронки потянулись гибкие зеленые побеги. С той поры прошло много лет, и выросло на месте погибшего новое дерево, еще более сильное и живучее.

Ствол дерева снизу не в обхват, а чуть выше разделялся на четыре. Один из них тянулся прямо вверх, два других наклонились в стороны, а четвертый лежал на земле: видно, буря налетела. Поваленный ствол совершенно сгнил у основания, а все-таки тянулись из него молодые стройные побеги. И непонятно было, откуда они брали соки жизни: из комля или из сломанных ветвей, упершихся в землю?

Рядом с ивами спокойно колыхались под теплым солнцем зреющие хлеба, а в голубой вышине заливались невидимые жаворонки, и я подумал: вот ведь как получается: страшная сила – бомба, но есть вещи сильнее ее. И в этом заключается смысл жизни.

# 46

В глухом таежном междуречье расположился лагерь разведывательной буровой бригады Василия Миронова. Несколько палаток на только что раскорчеванной и выровненной площадке, длинный свежеструганный стол между ними, закопченное алюминиевое ведро над костром. А рядом вышка и дощатый домик конторы, где установили рацию, приспособили для обогрева железный бочонок из-под сожженного в пути горючего. Место, выбранное для лагеря, ничем не отличалось от десятков таких же стоянок в таких же диких, нехоженых местах. С одной стороны – зарастающая тростником и камышовой порослью речонка, с другой – маслянисто блистающее на солнце трясинное болото.

И со всех сторон сразу – бесчисленные полчища комаров и въедливого северного гнуса.

Плыли сюда мироновцы на самоходной плоскодонной барже. Плыли дней шесть, преодолевая бессчетные мели, застревая на песчаных перекатах. Высаживались на берег, чтобы облегчить плоскодонку, и, обессилев, валились в дышащий вековым холодом мох. Если бы выпрямить все затейливые петли реки, получилось бы километров полтораста до поселка разведчиков. Там остались семьи, там в ранний утренний час гостеприимно раскрываются двери столовой, там поминутно стрекочут вертолеты, прицеливаясь к утрамбованной площадке перед продовольственным складом.

У горстки людей, оторванных от всего этого, было такое чувство, что они давно расстались с домом и неизвестно, когда снова увидят рубленые, давно не крашеные домишки, аккуратно расставленные по обе стороны широкой улицы.

А через четыре года вниз по Оби пошли первые танкеры, груженные нефтью. И одиннадцать миллионов тонн тюменской нефти, которые, по расчетам специалистов, должны были быть выкачаны из недр в ближайшие годы, не оказались фантастикой. Не преувеличивали сибиряки, рассчитывая на первенство в нефтегазовой индустрии.

# 47

Таня ступила на узкую тропинку, и ее охватило странное, неведомое раньше чувство одиночества. Было, конечно, еще и боязно – идти на станцию одной в первый раз! Вокруг ни души. Не просто тихо, а как-то подозрительно тихо.

По обеим сторонам тропинки стеной росла крапива. Высоченная, выше Тани. За ней выглядывали белые дремы, желтые лютики, малиновые герани. В другое время девочка обязательно стала бы их рассматривать. Она очень любила цветы.

Знакомые жгучие листья крапивы свернулись трубочками, словно специально, чтобы не обжечь ее. Конец одного стебля тяжело качнулся, и Таня увидела, что он сплошь покрыт мелкими зелеными шариками. Как же она раньше не замечала, ведь это цветки, мелкие зеленые цветки!

Девочка долго шла, петляя между кустами и травами.

Вдруг ее уши уловили легкий-легкий звук. Не шаги, не крик, не скрип, а что-то непонятное. Таня остановилась. Звук раздался прямо над головой. Девочка глянула вверх. С ветки свисали маленькие, похожие на грушу-дичку, плоды. Их слегка качал ветер, а они издавали тихие-тихие звуки. Таня подпрыгнула и сорвала плод. Он оказался кожистым вздутым мешочком, внутри которого перекатывались твердые шарики. Семена, догадалась Таня, и потрясла мешочком над ухом. Погремушка! Ну надо же, на дереве растет погремушка! Потрясла еще раз и услышала шелест листьев на деревьях, шорох сухой травы, пересвисты птиц, звонкий стрекот цикад, далекий гудок электровоза. И исчезло оцепенение, чувство одиночества. И вовсе это не страшно – идти одной первый раз. И совсем не одиноко – вон сколько всего вокруг живет, цветет, поет!

Прошло много лет. Таня выросла и стала ботаником. Много раз приходилось ей ходить по лесам и в одиночку, и с товарищами. И каждый раз, попадая в предгорья Кавказа, она искала невысокое деревце, усыпанное веселыми погремками, клекачку обыкновенную, или, по-научному, стафилею перистую.

# 48

Сентябрьское солнце, ярко пронизывающее прозрачный воздух, уже низко. Осиновые кусты вперемежку с одинокими деревьями, брошенными там и сям, кажутся словно золочеными. В сторону, противоположную закату, от них тянутся густые тени. Нежно-голубое небо покрыто легкими, как пух, и, словно пар, прозрачными облаками, подернутыми багряным румянцем. Едва ощутимое веяние уже нежаркого, но еще мягкого и нежного ветерка слабо тревожит воздух, напоенный запахом полыни.

Вдруг неведомо откуда доносятся мерные и торжественные звуки, подобные звукам трубы. Это в страшной, почти недоступной глазу высоте протянулись ключом журавли. Но звуки те мало-помалу слабеют, понемногу замирают, и скоро их уже совсем не слышно. Тихо, иногда только по гладкой, точь-в-точь полированной, дороге проскрипит, пробираясь, воз с рожью, и снова тишь.

Визгливые воробьиные стаи то и дело переносятся с конопляников, которые уже давно обобраны и где теперь можно так вольготно порезвиться, на полуразрушенный плетень, на котором возносится домотканая холстинная рубаха и сохнут на колышках горшки.

Словно пущенный камень, проносится мимо летучая мышь, а там, над камышом, они реют тучами, производя подобный ветру шум.

Проходят считанные минуты – и солнце уже почти закатилось. В глубине востока, неуверенно мигая брезжащим огоньком, вспыхнула маленькая звездочка.

# 49 Семь ездовых и ослик

В школе-интернате, расположенной в уютном пригороде, произошло событие, взволновавшее всех ребят: им преподнесли необычный подарок – четырехколесную повозку и ушастого ослика.

Ослик имел хищно-птичью кличку – Ястребок, а по нраву был спокойным и добродушным. Ребята кормили и поили Ястребка, чистили его: даже копыта лоснились. В ответ на заботу и ласку ослик усердно таскал скрипучую телегу. На ней подвозили дрова, доставляли белье из прачечной и овощи из хранилища.

Завхоз отобрал из числа мальчишек семь человек – прилежных, сообразительных. Они были ездовыми и выполняли эти обязанности один раз в неделю.

Все шло хорошо. Но вот пришел черед Гены Таежкина впрягать ослика и ехать в овощехранилище. Ястребок явно без охоты пошел за Геной во двор, смирился с тем, что на него надели шлею, но тащить телегу не захотел. Гена даже вожжами хлестнул его по бокам – бесполезно. Но Ястребок был упрям: стоял как вкопанный, помахивал хвостом, на окрики ездовых прижимал уши к гриве, словно не хотел слышать грубости.

Появился завхоз, и дело кончилось тем, что с Ястребка сняли шлею и пустили в конюшню.

Назавтра и еще несколько дней подряд ослик был покорен, послушен и, словно искупая свою вину, даже трусцой бегал. Но как только наступил день езды Гены Таежкина, упорство Ястребка, его нежелание работать проявились с новой силой.

Так повторялось несколько раз. Все начали подумывать, что ослик за что-то невзлюбил Гену и поэтому стал неподдающимся.

Побывав у своих шефов – полеводов колхоза, подаривших интернату Ястребка, ребята рассказали о причудах ослика. Председатель удивился, а потом поинтересовался, в какие дни недели приходил черед Гены быть ездовым. Ребята сказали, что по понедельникам. Председатель рассмеялся и раскрыл секрет непослушания Ястребка. Оказалось, прежде ослик был закреплен за сельмагом. А так как сельмаг по понедельникам не работал, в эти дни отдыхал от работы и Ястребок. И сейчас, в силу многолетней привычки, он проявлял все свое упрямство, отстаивая единственный в неделю выходной. И что удивительно, ни разу не перепутал понедельник с другим днем недели.

# 50

На самой окраине села, неподалеку от шоссе, на песчаном пригорке стоит сосна. Выросшая на приволье, она когда-то поражала своей мощью. И теперь еще, сорокалетняя или, может быть, девяностолетняя, она не потеряла остатки былой силы. Толстенный, вдвоем не охватишь, ствол весь в чудовищных узлах и сплетениях – ни дать ни взять окаменевшие в сверхъестественном напряжении мускулы гиганта. Толстая бугристая кора, напоминающая шероховатый бок выветренной скалы, местами обвалилась, обнажив изъеденное короедами тело сосны. Ветви торчат в стороны, словно гигантские костлявые руки, сведенные намертво в какой-то загадочной страстной мольбе. Дереву уже не в радость приволье, солнце, дожди. Только на самой верхушке клочок желтой, старческой хвои. Но и с этого клочка сыплются крошечными пергаментными мотыльками семечки. Напоминает эта сосна не что иное, как священное дерево, которое, говорят, было в седой древности у каких-то народов.

А вокруг шумит рожь. Сорвите колосок, рассмотрите его повнимательнее. Не ради ль такого колоска умирали бунтующие мужики, целые деревни, скрипя немазаными телегами, тащились на чужбину?

Шуми, шуми, рожь! Что бы ни напоминал твой колос, шум его все равно успокаивает и радует!

*(По В. Тендрякову)*

# 51 Удод

Приходилось ли вам слышать голос удивительно красивой птицы – удода? Весенним днем поет он с утра до позднего вечера, перебивая голоса кукушки, сороки, иволги, скворца, трясогузки, жаворонка… Сколько птиц, столько звуков. Но удод – признанный солист. Среди знакомых голосов воробьев, ласточек и скворцов его контральто легко различимо.

Распахнувший крылья удод похож на пестрый платок. Особенно наряден он на фоне синего неба. Не поскупилась природа, одарив птицу самыми яркими красками. Важно постукивает он длинным, слегка изогнутым клювом, потряхивает ярким, словно веер, хохолком на голове.

Голос удода мне приходилось слышать и раньше, но близко рассмотреть птицу не удавалось. Каждый день выслеживал я удода, пытался угадать, с какой стороны он прилетит. Его излюбленными местами были ветки дерева, забор, что окружал огород, или крыша дома. И сразу раздавалось таинственное «воп, воп, воп» или «уд-уд-уд…» Птица то поднимала голову, то опускала, будто говорила: «Здравствуйте!» Потом снова ровно три раза – «воп, воп, воп».

Но вот солнце скрывалось, показав раскаленный кончик желтого диска. И сразу замолкали птичьи голоса. На смену выходил хор лягушек. Из луж и канав доносилось кваканье.

# 52

Гроза ширилась и наступала на нас. Не успели мы оглянуться, как туча, почти не двигающаяся, казалось, с самого горизонта, неожиданно оказалась перед нами. Вот блеснула огненная нить, и густой смешанный лес, через который мы пробирались, мгновенно озаряется зловещим светом кроваво-красного пламени. Сразу же обиженно пророкотал гром, еще нерешительный, но как будто тревожный и угрожающий, и тотчас же по листьям забарабанили капли дождя.

Вряд ли знает грозу человек, не встречавшийся с нею в лесу. Мы бросились искать убежище, пока ливень не пустился вовсю. Но было уже поздно: дождь хлынул на нас бешеными, неукротимыми потоками. Оглушительно грохотал гром, а молнии, все время не переставшие вспыхивать серебряными отблесками, только ослепляли. Лишь на какую-то долю секунды можно было рассмотреть почти непроходимые заросли, едва не затопленные водой, и крупные листья, обвешанные маслянистыми каплями.

Скоро мы поняли, что, несмотря на все наши старания, мы так и останемся совершенно не защищенными от дождя. Но вот небо медленно очищается от туч, и мы продолжаем идти по путаной тропинке, которая приводит нас на малоезженую дорогу.

Мы проходим мимо невысокой, но стройной лиственницы, вершина которой расщеплена, и видим не что иное, как обещанную нам избушку лесника. Приветливый старик в холстинной рубахе с несвойственной ему торопливостью разжигает печурку, ставит на стол топленое молоко, печенную в золе картошку, сушенные на солнце ягоды, предлагает ненадеванный тулупчик. Старик потчует нас на славу.

В продолжение целого дня дождь лил как из ведра, но впоследствии погода прояснилась. Послеполуденное солнце безмятежно засияло, и наступила ниспосланная благодать. Начинался чудесный безветренный вечер.

# 53 Наш Семка

Семка – белый хомяк с черными полукруглыми ушами. Его привезли в стеклянной банке из Казани подруги моей старшей сестры. Он беспрестанно кружился в банке, царапал гладкие стены и искал выход из заточения.

На следующий день папа сколотил удобную клетку. Я постелила внутри постель из ваты, поставила посуду с крупами, хлебными крошками. Семка переселился в клетку и тут же приступил к наведению собственного порядка. Собрал в один угол постель, в другой угол перетаскал все запасы пищи, сложил их в кучу и прикрыл кусками ваты и газет.

Первые дни, когда к клетке подходил кто-нибудь, Семка садился на задние лапы и замирал, а потом беспокойно ворочал головой. Несколько раз он кусал мне пальцы, когда я меняла постель, молоко и пищу в клетке.

Но потом Семка привык, без страха залезал мне на руку и замирал в ожидании, когда я его поглажу, пощекочу. Я стала выпускать его на прогулку, но прежде заделала как следует все щели, отверстия у плинтусов пола в ванной, кухне. Семка все равно догадывался, что здесь имеются лазейки, и старался вытащить оттуда что-нибудь зубами, передними лапами. Семка очень часто подходил к балконной двери, пытался открыть ее, но не хватало силенок. Часто кружился у входной двери квартиры, суетился, бегал, фыркал, видимо, что-то его волновало, беспокоило. Он стал понимать ласку, реагировать на обращение: иногда выбежит из-под дивана, встанет на задние лапы и замрет, ожидая повторения своего имени. А иногда, услышав, что его зовут, убежит обратно.

Однажды в жаркий день я вынесла клетку на балкон, чтобы Семка подышал воздухом, погрелся на солнце. После обеда на небе появились темные свинцовые тучи и пошел град. Я в это время была у подруги, пришлось немедленно бежать домой.

Семка лежал в клетке без движения, мокрый и холодный, под грудой еще не растаявших льдинок. Я взяла его в руки, стала гладить, массировать и греть. Вскоре хомяк открыл глаза, пошевелил усами и, свернувшись калачиком, уснул на подушке.

Однажды он затерялся в квартире, словно сквозь пол провалился. Все начали думать, что хомяку удалось сбежать, но тут мама услышала, что у двери квартиры кто-то шуршит, царапается. Я подбежала, но никого не обнаружила. Вдруг сама услышала шорох и возню в папином кирзовом сапоге. Проказник Семка забрался по голенищу, упал в сапог, а вылезти

самостоятельно не мог.

Стали замечать, что Семка без труда карабкается по плотным гобеленовым занавескам. Его всегда снимали оттуда. Но однажды никто не заметил, как он забрался на самый верх, только услышали, как он шлепнулся с двухметровой высоты. Хомяк лежал без признаков жизни. Я чуть не расплакалась, бережно взяла его на руки, и вдруг Семка соскочил, напугав меня, и убежал. Мы все облегченно вздохнули.

В другой раз мама находилась на кухне, и там же под ногами бегал Семка. Я занималась уроками музыки. Мама закончила свои дела, захлопнула дверки кухонного стола, где хранились продукты. Вдруг оттуда раздался стук, и мама позвала меня. Я открыла дверцу и позвала Семку. Сначала показалась макаронина, а потом хомяк. Он сунул ее в свой защечный мешок, но поместилась макаронина туда лишь наполовину. Другая половина, словно ствол пушки, торчала наружу. Вот уж мы смеялись!

# 54 В порту

Громадный порт, один из самых больших портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гиганты-броненосцы. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара и с утра до вечера раздавались команды на всевозможных языках. От судов к бесчисленным складам туда и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, смуглые турки в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волоса ми и ногтями, окрашенными хной в огненно-рыжий цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух– или трехмачтовые итальянские шхуны. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде маленькие суденышки со странной раскраской и причудливым орнаментом. Сюда же изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага. Матросы такого судна – совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, – издавая гортанные звуки, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта.

Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весною – мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом – уродливую камбалу, осенью – макрель, а зимой – десяти– и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни.

Все эти люди – матросы разных наций, рыбаки, веселые юнги, лодочники, грузчики, контрабандисты, – все они были молоды, здоровы, пропитаны ядреным запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, а на суше предавались с наслаждением бешеному разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные блестящие глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая.

*(По А. Куприну)*

# 55

Лет с двенадцати я стал один ходить на Ворю, где находилась Истоминская мельница. Тогда Воря, воспетая еще Аксаковым, была чистой и рыбной. Без хорошего улова с нее я не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и две-три щуки.

Мне очень нравилась и сама дорога к реке: каждый раз, идя по ней, я узнавал или находил что-то интересное, открывал для себя что-то новое.

Выйдя на задворки, я проходил луговиной, мимо небольших прудов, образовавшихся после того, как здесь пробовали добывать торф и оставили несколько котлованов, которые потом наполнились водой. Здесь я иногда отлавливал карасиков, чтобы использовать их на Воре как живцов. Потом заходил в лиственный молодой лес. По дороге успевал найти несколько подосиновиков и подберезовиков. Пока я их искал, вспугивал тетеревиный выводок. Птицы с тяжелым шумом разлетались по кустам.

Выйдя на просеку, проходил по крупному смешанному лесу километра два. На этой просеке росла трава-мурава, всегда свежая, зеленая, мягкая. По ней так приятно было шагать. А потом я сворачивал влево, на другую просеку. Здесь рядом находилось небольшое болото, на котором, кроме клюквы и голубики, росла морошка. Мне долго не верили, что менее чем в шестидесяти километрах от Москвы может расти такая северная ягода. Морошка теперь встречается, и то редко, на севере Калининской и Вологодской областей. А тут она – рядом со столицей. Но я доказал, что она есть в этих местах, когда привез в Москву сначала ее незрелые красные ягоды, напоминающие малину, а потом – зрелые, янтарные.

Наконец я выходил к оврагу, пробирался сквозь кусты орешника, и тут передо мной открывался мельничный омут. Мельничные омуты, которых теперь и не найдешь, имели много общего между собой. Этот бревенчатый настил, эти кладки, повисшие над быстротекущей водой, эти кусты ивняка, окружившие бегущую воду. А по краям омута – кувшинки. Мельничные омуты всегда были украшением природы. Человек, нисколько не обижая и не уродуя ее, создавал новую красоту.

И вот я выходил на этот старый бревенчатый настил, ложился на бревна и долго разглядывал в щели гуляющую под ним рыбу. Там поспешно проплывали стаи плотвы, притаившийся у сваи окунь вылетал за зазевавшимся пескарем. Степенно проходила

стая язей.

А ловить с настила было почти невозможно – близок локоть, да не укусишь: туда никак нельзя было закинуть снасть. А если и удавалось это, то попавшуюся рыбу никак нельзя было вытащить – она не проходила в щели между бревнами.

Я отлавливал несколько живцов, ставил две-три жерлицы возле кустов, а сам занимался ловлей плотвы и окуней на удочку.

Целый день я крутился возле омута.

Здесь же и купался, если было жарко, здесь же ловил рыбу, собирал ягоды и грибы.

# 56

Внизу, у беспорядочно нагроможденных в бессчетном количестве пепельно-серых камней, плещутся, и брызжут, и дышат горько-соленым пьяняще-ароматным воздухом выровненные, как по линейке, волны прилива. Лицо чуть-чуть обвевает прохладой «морячок», приносящийся из Турции. Ломаной линией тянутся вдоль берега военные склады. Внутренний рейд охраняется от декабрьских и январских штормов железобетонным молом. Изжелта-красный хребет как бы с ходу обрывается в море. Ниоткуда невидимые и недоступные для человека расселины в скалах – убежище птиц. Далеко вверх забрались миниатюрные, беленные негашеной известью глиняные домики. Вдали, на юго-западе, виднеются бело-серые гряды гор с тающими в воздухе, сходящими на нет серебряными вершинами.

В старом-престаром загородном парке тихо и безлюдно. Давно не крашенные деревянные беседки увиты плющом и манят прохладой. Эстрада для оркестра с плохо настланным полом доверху заколочена фанерой. Теперь это не что иное, как склад ненужных театру декораций.

Ничем иным, как складом, не могла быть теперь и галерейка, находящаяся близ эстрады. Беззвучно падают бесчисленные золотисто-желтые осенние листья. Парк раскинулся вширь на два-три километра. По тропинкам далеко не безопасно ходить, так как в траве кишат небольшие змейки-медянки. Нижняя площадка усеяна отшлифованными морем блестящими камешками; среди них пробивается растение не-тронь-меня. Войдя в глубь парка, вы увидите на редкость красивый двухэтажный павильон с витыми колонками и с искусной резьбой. Из-за зелени широколиственных деревьев выглядывают точенные из камня статуи, относящиеся, по-видимому, к предыстории парка. Клумбы пестрят огненно-красными каннами, гладиолусами и разными субтропическими цветами. Каких сочетаний красок я не увидел здесь! Кого ни спросишь, все говорят, что из парка уходить не хочется. Вряд ли удастся ввиду загруженности приехать сюда еще раз в течение ближайших лет.

# 57 Семеновы тополя

Отступая, фашисты разграбили и сожгли нашу деревню Заречье. Вернулись старики и женщины с детьми из леса – негде приютиться. Вместо подворий скорбное погорелище: обугленные головешки и столбы, остовы печных труб в дымных подпалинах, едкий запах пепла и гари. Уныло, мертво было кругом. Никого не обошла злая беда, не уцелело ни одной постройки, ни деревца. Пали под топором врага и Семеновы тополя. Еще молодым парнем Семен Арефьев посадил их вокруг родительской усадьбы.

Семен слыл храбрым, удачливым разведчиком в партизанском отряде. Из всех самых дерзких и опасных набегов в логово врага выходил цел и невредим. Потом он командовал взводом пехотинцев. Погиб Семен на одной из улиц Берлина в тот самый день, когда весь свет облетела долгожданная весть: «Победа!.. Конец войне!..»

Семенову жену фашисты замучили, двух его дочерей-подростков угнали в неволю, и они пропали без вести, сгибли где-то на чужбине. Никого не осталось у Семена в живых, и ничто, кроме печальной, как могильный холм, груды горелых обломков, поросших ярко-огненным кипреем, да тополиных пеньков, не напоминало о том, что на этом месте красовался его пятистенный дом, обшитый тесом в «елочку», с широкими окнами в затейливой резьбе, с застекленной верандой. Приветливым, веселым был этот дом.

Трудно обустраивалась деревня после разрухи. А природа буйствовала, ликовала, словно торопилась вернуть былую красу израненной, одичавшей земле. В первую же мирную весну, на диво всем, вдруг ожили срубленные фашистами Семеновы тополя. От каждого пня брызнули бодрые побеги, омытые теплыми грозовыми дождями, гонко пошли в рост. Как-то незаметно они вымахнули богатырски ввысь, раскинули пышные кроны с изумрудной листвой. Каждому у нас любы эти пригожие, курчавые деревья. Не только полезностью своей, а скорее упорством, жизнелюбием они заслужили особое уважение у людей, их берегут, о них заботятся.

Уютную рощу облюбовала молодежь для своих гуляний. Тут собираются колхозники на сходки и просто так, посидеть вечерком под густыми ветвями, в прохладной духовитой тени, потолковать о жизни.

С какой бы стороны ни шел, ни ехал к нам в Заречье, издалека приветливо манит, ласкает взгляд веселый зеленый островок среди полей, от которого разбегаются двумя порядками

добротные дома под светлыми, волнистыми шиферными крышами, с телевизионными антеннами.

Давно уже нет Семена, но он как живой среди сельчан. Живут, радуются жизни и радуют собой людей его зеленые питомцы. В разговорах частенько можно услышать приветливое «Семеновы тополя». Добрую память оставил человек о себе. Она живуча, как эти победившие смерть деревья.

# 58

Стояла чудесная весенняя пора. Море пробуждалось от сковывавшей его дремоты и как бы посылало свой утренний привет еще не проснувшейся земле. Желтовато-розовые лучи солнца едва коснулись поверхности воды, позолотили пристань, корпуса судов, стоявших на рейде, и краешки парусных лодок. На дощатых настилах и прямо на песке, всего-навсего шагах в пяти от воды, лежали вповалку какие-то люди. Некоторые из них недавно пришли сюда в надежде на заработок, другие были исконными местными бродягами, которые привыкли проводить летние ночи под открытым небом. С краешка настила распластались два местных «галаха», которые до упаду набродились впотьмах, рассчитывая чем-нибудь поживиться, и, разделив добычу, они заснули каменным сном.

Едва-едва забрезжил рассвет, как пристань стала понемногу пробуждаться. Из-за кормы никому не принадлежащей старой баржи появилась компания запоздалых гуляк, которые, видимо, не в меру выпили после темных ночных похождений и теперь нарушали тишину южного умиляющего душу утра нестройными выкриками. Двое из них шли в обнимку и пели какую-то залихватскую песню. Голоса их звучали нестройно, вразнобой, внося диссонанс в гармонию просыпающегося утра. О, как раздражало это тонко чувствующего художника, который явился сюда с мольбертом и приготовился запечатлеть на своем холсте неподражаемые краски моря. Песнь внезапно оборвалась, и послышалась брань. По-видимому, приятели поссорились всерьез, ибо один из них наскакивал на другого, гневно размахивая руками и крича что-то в сердцах. Им всегда было вместе тесно, а врозь скучно.

Через час пристань была неузнаваема. Народ сновал взад и вперед, мальчишки торговали папиросами в розницу, то есть поштучно. Лоточницы продавали печеные и только что сорванные анисовки и грушовки. Все ожидали прибытия тихоокеанского парохода. Взвод солдат во главе с унтер-офицером промаршировал в ногу по набережной и остановился у причала. Вскоре на горизонте показался силуэт судна, а через полчаса железное чудовище вполоборота подходило к причалу. Пароход пришел вовремя, и пристанская администрация была во всеоружии. Первым по трапу сошел на берег генерал-майор в сопровождении денщика. Вслед за ним семенила старушонка в душегрейке, держа на руках дрессированную собачонку. Далее двигалась дама в экстравагантном желто-зеленом в полоску

жакете и молодой человек с моноклем в глазу, в блестящем цилиндре и в макинтоше внакидку. Старушонку, еле-еле державшуюся от усталости на ногах, встретила толпа родственников. Они доверху нагрузили бричку корзинками и баульчиками, набившись туда до отказа.

# 59 Березовое блюдце

Кажется, все уже до кустика известно в наших березовых перелесках, а нет-нет да и встретишь такое, отчего вдруг остановишься в восхищении и сердце ворохнется от радости. Вот хотя бы березовое блюдце, которое я нашел вчера. Лежит то блюдце на кургане, на самой его вершине, между трех березок-сестер, выросших из одного корня. Их было больше, четыре, но четвертую спилили. Обливался соком тот срез по весне: березка все стремилась еще раз подняться, да не смогла, только оставила после себя это берестяное кольцо по краям круглого пенечка. И легла вокруг всего среза по самому краешку ровная красивая каемочка. Руками так не сделаешь. Получилось настоящее блюдце: дно темноватое, а края белые, атласные. Хоть возьми и пей из него или срежь да унеси на память, не пожалеешь: днями гляди – не наглядишься. И к довершению моего удивления водица на донышке чистая-чистая: то ли березки снова поделились весенним соком, то ли это их слезы по своей младшей сестре.

# 60

Идет лесник по тихой тропинке, пробирается сквозь чащобу, а потом перебирается через топкий лесной ручей. Ветер треплет густую крону лип, развевает зеленые верхи берез. Только в дубовой листве, такой густой, что, кажется, даже в ливень она не промокает, ветер запутывается и стихает.

Вот лесник останавливается у невысокого деревца, наклоняется. Нет, не поганки, растущие здесь, привлекают его внимание. Лесник отыскивает в сумке инструмент, приступает к работе, и вот уже из тела дерева вынут небольшой блестящий кусочек металла – осколок снаряда. Ничего, скоро рана обрастет корой, и дерево будет жить по-прежнему. А вот он поравнялся с дубком, который уже перенес такую же операцию. Теперь и не найдешь его раны: молодая кора сровняла даже шрам. Останавливается Лукьян Кузьмич возле ростков сосны, нежно прикасается к ним, и от его прикосновения они ласково кивают пушистыми верхушками. «Вот бы сюда привести тех скептиков, которые полагают, будто сосна не может расти на черноземе», – думает он. В его питомнике выращено более двух миллионов саженцев лиственных и хвойных пород.

Перед возвращением домой можно и передохнуть, и лесник прислоняется спиной к стволу, вслушивается в безыскусный перезвон птичьих голосов. Вдруг к привычным запахам примешивается горьковатый запах горелого. Что за наваждение? Где же горит?

С собой только сумка с немудреным инструментом да пара рук, а впереди, зловеще блистая, уже текут змейки пламени. Лесник очищает землю от сухих листьев, спешит, превозмогая боль в обожженных пальцах, погасить пламя, и вот уже один за другим, дойдя до очищенной земли, гаснут огненные ручейки. Лесник вытирает пот со лба. Туда, где только что бушевало бешеное пламя и деревья стояли словно окропленные кровью, возвращается мгла.

# 61

Два дня и три ночи бесилась погода, на третий день улеглась. Ветер стих, враз уступил всю северо-западную московскую и новгородскую Русь тишине и морозу. Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной юго-восточной лазури. Он всплыл из-за леса, уменьшаясь и плавясь в золото. Этот слепящий золотой сгусток быстро отделился от горизонта. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. Безбрежная, непорочно чистая голубая лазурь была тем гуще, чем дальше от солнца. На другом небесном краю еще умирал палевый сумрак ночи. Месяц, ясно и четко оттеняемый этим светлым сумраком, бледнел над лесами, когда снега заискрились окрест. Ели, отягощенные белыми снежными клубами, изменили свои очертания, но безмолвствовали. Кроны старых сосен гордо остались сами собою, лишь молодую сосновую поросль вынудил снежный гнет: нежная, неокрепшая плоть там и тут напряглась в основаниях мутовок.

Белизна заставляла еще яростней зеленеть сосновые лапы. Пар непростывших влажных низин поднялся на уровень древесных вершин и замерз, и рассыпался на свободных от снега березовых ветках. Несчетные россыпи мельчайших бисеринок засверкали на солнце. С последним колыханием исчезающего осеннего тепла все замерло. Мороз начал неспешно гранить, ковать, серебрить, лудить все, что имело хоть самую малую долю влаги.

Лесная речка, еще вчера бежавшая навстречу метели, начала сдавливаться серебряными зубцами. Прозрачный лед уверенно наползал на середину струи, сужая водяной ток несокрушимым ребристым панцирем.

И все вокруг бесшумно сияло, сверкало, искрилось от морозного света. Но едва поднявшись над лесом, едва успев разгореться, расплавиться слепящим своим золотом, великое наше светило начало краснеть и падать на дальние лесные верха. Розовое холодное половодье затопило четвертую часть горизонта. Лиловые зоревые крылья, переходящие в зеленоватую глубь темнеющего морозного простора, опускались все ниже. Правее, в созвездии Близнецов, блеснул своим красноватым глазом пробудившийся Марс – бог римских язычников, покровитель войн и пожарищ. Но этот блеск тотчас исчез, затерянный в мерцании бесчисленных звезд. И вот уже повисли над миром близкие и дальние звездные гроздья. Они словно бы раздвигались и в глубинах темного неба вскрывали новые объемные гроздья. За ними роились другие такие же, роились и раздвигались…

Только месяц, горящий ярким желтым, но все же нездешним, светом, казался совсем близким морозной лесной земле.

Царство безмолвного знобящего холода раздвигалось подобно звездам, захватывало глубины небес и земного пространства. Но откуда же мимолетно и тихо пахнуло вдруг березовым, неунывающе бессонным дымком?

*(По В. Белову)*

Только совершенно незаинтересованному взгляду русская природа кажется бедной и нисколько не разнообразной. Неброская, но какая-то сосредоточенная и сразу не раскрывающаяся красота ее вызывает неповторимое, долго не забывающееся чувство щемящей грусти. Я не знаю ничего более трогательного, чем первый снег, который, несмотря на свою хрупкость, властно манит далью еще почти не проторенных дорог.

Сколько песен сложено про зиму, сколько поэм посвящено юной красавице в сарафане из серебряной парчи, а нам все недостает. Когда особенно безветренна и румяна зорька, не спеша умывается она студеным рассыпчатым снегом. А как поведет потом синими очами из-под опушенных инеем ресниц, так каждый поверит, что такая красота никем и нигде не видана.

Чего только не вспомнишь из далекой поры юности! Я до сих пор вижу дуги с узорами, писанными масляной краской, золоченую упряжь коней с лебедиными шеями, которые на масленой неделе, едва не сцепившись оглоблями, наперегонки мчат нас по вовсе не узкой деревенской улице. Часто за мной приезжал брат, и мы не медля отправлялись в соседнее село. Заметив, что я загляделся по сторонам, он с непривычной мне ловкостью выталкивал меня из саней и пускал обындевевшего коня в галоп.

В тяжелых валенках и овчинном свежедубленом полушубке не быстро побежишь, но я налегал изо всех сил, а брат не останавливал коней, пока я не начинал спотыкаться. Но сколько ни пробовал я вытолкнуть его из саней, это мне никогда не удавалось.

Нет, русской зимы нельзя не любить. Люди, не видевшие ее, досыта не налюбовавшиеся ею, не поймут русской жизни и русского характера.

# 63

На высоте трех тысяч метров мы снова увидели солнце, которого там, внизу, когда нас провожали на посадку, уже не было. Снова показавшись над горизонтом в полдиска, оно багрово осветило правый борт и залило салон тревожным отсветом. Был как раз тот момент, когда с земли, уже окутанной сумерками, мы, летящие в пустынном, вечеряющем небе, кажемся загадочным раскаленным крестиком.

Здесь еще можно было читать без плафонов, и кое-кто зашуршал страницами. Но я никогда не занимал себя чтивом в дороге, особенно в поезде. Для меня самая лучшая, самая интересная книга – за окном.

Мое место оказалось у иллюминатора по левому борту, откуда закатный свет не мешал смотреть вниз. Я рассчитывал взглянуть на осенние в разгаре золотой поры березовые леса, которые здесь, под Москвой, пока еще не редкость. Даже с такой высоты должны быть видны их пространные огненные разливы с прожилками дорог, просек и лесных речек. Но под крылом уже надвинулась легкая, кисейная синева, постепенно густеющая к востоку, где небо, готовясь к ночи, обрело свою отрешенную аспидность. Там, под его мерклым покровом, уже зажглись первые огни и пунктирно обозначились невидимые дороги бегущим светом автомобильных фар.

Минут через пятнадцать полета впереди по курсу в загадочной сини земли молнией взблеснула река. По широким, плавным извивам, свойственным большим рекам, я узнал Оку. И сразу же отвесно внизу начал ртутно поблескивать, суетливо петлять левый ее приток – Нара.

*(По Е. Носову)*

# 64

Прошел холодный ветреный март, и, наполняя воздух ароматом оттаявшей земли, наступил солнечный апрель, хотя по-прежнему иногда дул студеный ветер. Все обрадовались, увидев, что наперегонки побежали шустрые ручьи, стремясь к сверкающей в отдаленье речонке, ставшей вдруг шумной и полноводной.

Всюду, куда ни взглянешь, стелется над землей легкий пар, на песчаных буграх, которые сами собой уже давно обезлесели, мало-помалу подсохли проталинки, и только на давно неезженой дороге синеют лужицы последней снеговой воды. И степь, и сама деревенька, разбросанная на пригорках, и дощатый заборишко, и сложенные у него дрова, обмытые дождями и обветренные, – все казалось таким новым, праздничным, что каждый, кто ни смотрел, не раз удивлялся диковинной перемене.

А вот и прилетели первые скворцы и тут же, несмотря на усталость после долгого перелета, начали оживленную работу. Без устали носили перышки и соломинки, собирали зернышки, брошенные в траве. Прилетели скворцы, и тут же оказалось, что прилетели они не в пору и только один день могли вволю попеть. Весна пошла на попятную, и уже ввечеру ударил мороз, в течение ночи валом валил снег, а пополуночи завьюжило совсем по-январскому.

Люди укрылись в домах, а скворцы забились в хворост, прятались вместе с воробьишками в обындевевших соломенных крышах конюшен… А неопытные или просто недогадливые насмерть замерзали либо на лету, либо в холодных скворечнях. Приходилось голодать: где уже тут найти хоть какое-нибудь семечко.

# 65

Время смены цивилизации ответственное и опасное. Вот и нынче все то, что мы называем жизнью человека, уже следует называть проблемой выживания. Выживание должно быть проблемой не только материальной, но и духовной, а экология должна обрести эстетический смысл. В новой цивилизации культура и культурные ценности нашей эпохи, думается мне, приобретут такое значение, которое имеют нынче для нас культуры Древней Греции и Рима. Верю, что русская литература, а вместе с ней и русский язык не потеряются среди этих памятников. Верю, но и сомневаюсь, потому что люди все больше и больше теряют интерес к истории. Это особенно заметно в молодом поколении – история не оправдала его надежд, не научила жизни, тем более выживанию.

За последние два века благодаря перенасыщенности событиями истории стало гораздо больше, но, может быть, именно по этой причине она и девальвируется. Молодое поколение все больше и больше убеждается в том, что история мало чему научила их отцов и дедов, разве только прописным истинам, а если так – откуда же у молодежи возьмется прилежание к истории?

Новая цивилизация, наверное, не захочет глобальных экспериментов – социальных, экономических, религиозных (национальные, очевидно, все еще не будут исключены), ей не нужны будут и призраки, которые бродили бы по Азии, Африке, Южной Америке, тем более по Европе, ее цель – экологическое благополучие – должна будет подчинить себе и экономику, и политику, и просвещение. Преувеличение? Может быть, но оно не меняет сути проблемы.

Да, природа когда-то приютила в своем доме человека, но он решил, будто он и есть полновластный хозяин, и создал в доме природы свой собственный, надприродный дом. А теперь ему ничего не остается, как приютить природу в этом своем доме, но вовсе не в качестве бедной родственницы, а при условии, что она-то и будет определять режим и порядок жизни нового дома, право пользования всем его имуществом. Среди этого имущества находится и литература – и для нее не будет и не может быть исключения, и чем раньше она найдет себя, свое место в доме новой цивилизации, тем лучше.

*(По С. Залыгину)*

# 66

Я чересчур переоценил свою потрепанную и расшатанную машину. Тяжелый североуральский участок с его 1230 километрами в осенних условиях оказался не под силу моему заслуженному моторику. Он начал покашливать и сдавать. Ноги у меня одеревенели, глаза остекленели. Ледяные ветры гонят низко нависшие тучи и кое-где уже обледенили машину. По старинной привычке я попробовал беседовать с самим собою: «До аэродрома, Кузьма Кириллыч, не дотянете. Спокойствие! Не дурачься, оставь трассу и сэкономь горючее, приблизься к северным озерам и разыщи что-нибудь похожее на посадочную площадку. От твоего искусства будет зависеть, приземлишься ты или отправишься к праотцам».

Вглядываюсь в знакомую местность, и мысли вереницей проносятся в голове. В когда-то невдалеке отсюда находящемся городишке Золотой Ключик я командовал инженерной ротой, а потом заведовал конструкторским бюро. В этом городишке меня чествовали при получении первого ордена. Помнится, мои юные друзья вместе со мною недоедали и недосыпали – все создавали новые модели. Бывало, обессиленные, свалятся с ног, а потом выспятся и опять за работу. Здесь было так привольно расти моим дочкам Наденьке и Лизоньке!

Но вот вдали что-то заблестело.

Приближаюсь. Да это же не что иное, как чудесное Анненское озеро! Ничто иное в этих местах и не могло бы оказаться. Снижаюсь. Волны беспокойно плещутся, сухие камыши колышутся, шепчутся, что-то назойливо лепечут. Смотришь вниз, и кажется, что на тебя несутся прибрежные скалы и что волны вот-вот докатятся до самолета.

Приземляюсь у линии прибоя. Кругом никого и ничего. Только темно-желтые сухие листья вертятся в сумасшедшей пляске. Позвать кого-нибудь? Попробуйте, крикните! Никто не услышит. Если вы крикнете громче, эхо загрохочет в ущелье. Снежинки вертятся в воздухе, колются, жалят и тотчас же тают на щеках. Но что это? Собачий лай. Сухонький старичок с ружьем. Да это же Аниканыч, знаменитый приисковый лекарь, искусно лечивший от цинги и других нехитрых «старательских» болезней настоем можжевельника.

Не рассчитывал я еще раз ночевать в его избушке. Расспросы. Рассказы. На столе все такое знакомое: старенькая тканая скатерть, деревянные блюда с криво выжженными на них какими-то надписями, тусклые оловянные ложки, каленые кедрышки,

сушенная на ветру и печеная рыба, копченая медвежатина, вареный картофель, глиняная кринка с медом, две серебряные чарки, заветная фляжка, всегда наполненная в ожидании желанного гостя.

# 67

Василий Дмитриевич Темляков родился в зажиточной семье главного бухгалтера, служившего на чаеразвесочной фабрике Перлова, что на Мясницкой. Был младшим сыном в семье и до пятнадцати лет не задумывался над смыслом жизни, живя в свое удовольствие в одноэтажном домике на замоскворецкой булыжной улице. Он каждое утро вприпрыжку выбегал из дверей подъезда на известняковые плиты короткой дорожки, ведущей к калитке. Ему нравилось, как громко хлопала за его спиной тяжелая пружинная дверь, как испуганно вспархивали воробьи при его появлении. Ему нравилось все в этом мире: небо с белыми облаками, зеленые ветви сирени, влажная земля под ними, тугой весенний запах ее коричневой тьмы. Но не меньше нравился ему и зимний день, когда все ветви маленького садика на задах дома были убраны снегом.

Дом, одетый в желтую штукатурку, казался ему живым существом, с которым ему иногда хотелось даже поговорить. Над четырьмя высокими его окошками белели лепные вставки: гирлянды, сплетенные из лозового листа, виноградных гроздей, яблок, груш. Мезонинчик над зеленой крышей, похожий на скворечник, был непропорционально мал, возвышаясь теремком над домом, над слуховыми его окнами и печными трубами.

В мезонине было холодно зимой, и там никто не жил, но с весны туда переселялся отец, суровый и строгий, не знавший нежности к сыну, а только требовавший от него беспрекословного подчинения. Самым страшным и непонятным словом для маленького Васи было слово «баланс», которого он очень боялся и сразу утихал, если ему, расшалившемуся, грозили пальцем и говорили: «Тише, папа делает баланс…» Этот баланс представлялся мальчику в образе невидимого чудовища, которое часто поселялось в их доме, особенно в конце каждого года, и наводило на всех домочадцев панический страх.

Отец в эти дни, когда в доме жил «баланс», бывал капризен, как тяжело больной человек, и все его боялись, даже мать. Чутье его как будто обострялось в эти дни. Он улавливал за обеденным столом беспокоящие его запахи, если они вдруг вплетались в привычный дух накрытого стола.

*(По Г. Семенову)*

# 68 Березки светлеют

Вы заметили, что березки стали чище, светлее? Они уже вовсю чистятся, белятся. Вот и сегодня – везде тонкие полоски от бересты, старые семена, сухие веточки. Они и в овражке, и в каждой ямке, и даже на лыжне. А помогает молодиться деревьям ветер. Он срывает с них ветхий ненужный наряд. Вон в лыжне сколько трубочек-берестинок. Я осторожно трогаю одну лыжной палкой, и вот понесло ее легкую, невесомую, понесло в большое поле. Только остался на снегу легкий загадочный след.

Чуть в стороне от тропы привольно раскинулась одинокая старая береза. Чуть солнце, и она бросит свою тень через овраг на пологий склон. Как-то я хотел обвести на снегу ее контуры. Да куда там! Вон сколько у нее кудрей! Нижние ветки опустились до самой земли, и, когда ветер, она их, наверное, полощет и моет в снегу. А сейчас стоит вся в думах, насорила вокруг себя семян-самолетиков. По весне их умчит полая вода. И как знать: где-нибудь вдалеке и задержится маленькое семечко, прорастет, и вымахнет со временем березка – матери под стать. И будут удивляться потом люди: откуда взялась такая красавица, вроде бы и нет тут поблизости берез.

А старая береза-мать тоже чистится, тоже небось хочется и ей еще порадовать людей по весне. А как же!

Березки светлеют, готовятся к весне. И уже праздничнее стало в лесу, уютнее. Оттого и радостно на душе.

# 69

Рубин был захвачен. Его темно-карие глаза казались огненными. Большая нечесаная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъем, которого еще не объяснили ученые боги: забыв о печени, о гипертонических болях, освеженным, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи все тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нем. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять ее назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.

*(По А. Солженицыну)*

Он видел ползущую машину, навстречу ей по светлой змейке дороги ползла другая машина, а далеко в стороне от них еле заметно перемещалась третья странная машина, словно окутанная белым облаком, – то орошал поле искусственным дождем усердный механический поливальщик.

Когда машина, тащившая за собой огромный хвост пыли, отъехала от моста, ястреб решил перелететь за синюю широкую черту реки, потому что охота на этом берегу была испорчена. Но тут, вздумав, видимо, воспользоваться пыльным облаком, от норки к дороге и стремглав через нее пронесся суслик, устремляясь к воде. И ястреб, тесно прижав к бокам крылья и прямо установив хвост, стрелою пошел вниз. Суслик, так и не добежав до воды, метнулся назад, вновь к дороге и через нее по направлению к норке, однако было уже поздно. И чувствуя, что пропал, погиб, суслик отчаянно запищал, опрокинулся на спину и замер с оскаленной пастью. Мгновение спустя все было кончено для него, он вздрагивал всем тельцем, еще живой, и кусал грубую лапу птицы, сдавившую его со страшной силой.

Тяжело, сильно маша крыльями, задевая концами их землю, отчего взметывалась по обеим его сторонам степная пыль, ястреб низко полетел сначала вдоль дороги, затем свернул в сторону, к воде, и вскоре опустился на большой плоский камень у берега. Вяло разбросав крылья, зажав в когтях добычу, он сидел, не глядя на нее, и раздумывал, не грозит ли ему опасность с той стороны, где недавно находилась машина. И решив, что людям не до него, он спокойно принялся разрывать и глотать пищу.

*(По А. Киму)*

# 71

Много сотен верст нужно лететь птицам со своих зимних становищ на родину. Иным придется сделать чуть ли не тысячекилометровый перелет. Сколько приключений и опасностей, сколько превратностей встретится им на пути! Чего только не испытывает в течение такого полета маленькое существо весом около двадцати-двадцати пяти граммов. Право, нет сердца у стрелков, не жалеющих птицу и тогда, когда, обессилевшая после трудного перелета, повинуясь ничем не победимому зову природы, она стремится в то место, где впервые увидела солнечный свет.

У животных много своей, таинственной, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но зачастую бывает так, что перелетных странников застигает посреди моря внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, а силы ослаблены и кругом расстилается безбрежное море. И тогда погибает едва ли не вся стая, за исключением наиболее сильных.

Счастье для птиц, если нежданно-негаданно встретится им в эти минуты морское судно. Невзирая на опасность, целыми тучами опускаются нежданные и незваные гости на палубу, на борта, на снасти, и странным кажется корабль, обвешанный живыми гирляндами птиц. И суровые моряки, никогда не обидевшие их, не оскорбившие их трепетной доверчивости, спасают им жизнь. Ибо говорится в прекрасном морском поверье, что неизбежно несчастье для того корабля, на котором была убита птица, просившая приюта.

Небезопасным для птиц бывает не что иное, как прибрежный маяк. Измученные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, пренебрегая опасностью, стремятся туда, куда их обманчиво влечет едва брезжащий свет маяка, и на лету разбиваются грудью о толстое стекло и камень галерей. Но опытный вожак, взяв заранее другое направление, всегда предотвратит почти неизбежное несчастье.

# 72

Перекрытия ярусов рухнули – где целиком, где частично, – наверное, от взрыва, уничтожившего все другие строения, и тьма, тронутая изнемогающим в закате светом, возносилась под худой купол, в который заглядывали еще не различимые снаружи звезды. Пахло сырым камнем, плесенью, илом, отложившимся на стенах, застойной водой и еще чем-то – птичьим пометом, спертым духом животного существования и занесенной людьми нечистоты.

Сергеев задел весло – звук, круглый, гулкий, похожий на глоток, не исчерпался в себе самом, обрел протяженное существование в одетой камнем тьме. Он отскочил… Когда-то Сергеев любил игру эха, а к старости нарочитые эффекты природы стали раздражать. Сергеев затих в лодке, не прикасаясь к веслам и удерживаясь от всяких движений. Это подарило тишину, и стало хорошо.

Вверху, где звезды, послышался слабый вздох. Затем повторился с легким отзвоном. Вновь долгий нежный стон, истончаясь, стек к воде и поглотился ею. Тут не было даже милой игры – проникающая печаль, музыка сфер, подхваченная необыкновенным инструментом – флейтой-колокольней.

И это оказалось лишь вступлением к долгой песне без слов, которую завел, чтобы исполнить до конца, ночной ветер на каменной дудке. С силой проталкиваясь в ее звучащее тело, он рождал протяжные, редкой нежности и красоты звуки, изредка искажавшиеся захлебным воем в куполе – взвинтилось и вдруг сразу оборвалось. И вновь льется мелодичная жалоба, похожая на щемящую ноту юродивого Николки в железной шапке. Сравнение пришло много позже, когда Сергеев вернулся домой и, ворочаясь без сна, силился понять, что напоминали ему преображенные сетования ветра.

Сергеев забыл о часах и не знал, сколько времени провел в каменном теле музыкального инструмента. Уже когда музыка, постепенно истаивая, замолкла, он все боялся пошевелиться, чтобы грубой игрой эха не помешать эоловой арфе, но ветер окончательно стих, и, осторожно оттолкнувшись веслом, Сергеев выплыл наружу.

*(По Ю. Нагибину)*

# 73 Январское диво

Что может быть в январе, кроме морозов и снегов. Да, в январе холодно. Но уже в солнечный день в затишке, за лесом, греются на солнце снегири. Расселись на полынных кусточках, выставили алые грудки и красуются перед снегурушками.

Синицы уже пробуют свой голос. Вчера сам слышал. Конечно, до песен еще далеко, но синичья запевка уже начинается: пинь-пинь.

А на днях над заснеженной Вершницей в морозном солнечном небе резвились в брачной игре вороны. Черные-черные над белым долом: две пары, четыре крупные птицы летали по большому кругу с громким гортанным криком: крук-крук. Так они выбирают себе подругу, одну-единственную на всю жизнь. А вороны живут до семидесяти лет. Но как летали! То все четыре друг за другом, то сойдутся парами крыло в крыло, то один под другим, то вдруг поменяются парами, то снова летят по-прежнему, касаясь клювами и любуясь друг другом. И все над Вершницей, все по одному большому кругу. И сколько бы они еще резвились, если бы не сороки. Пострекотали, пособирались в сосняке и большой стаей к ним, к воронам. И нарушилась брачная игра – улетели в беспорядке к Молявину.

Хотя сороки и сами из семейства вороновых, но воронов не любят, много зла они приносят всем птицам и сорокам тоже.

И все-таки вороны летали красиво. Сейчас закрою глаза и вижу паренье этих черных больших птиц с блестящим черным опереньем в голубом небе над снежным безмолвием.

Еще вспоминаются часто обледенелые стволы берез. Это было после оттепели, в морозный день. Мокрые березы обледенели, а когда поднялось солнце над лесом, вспыхнули на атласных белых стволах маленькие живые огоньки.

А не диво ли – яркие звезды и пышные сугробы, белые поля в снегириных грудках и Большая гора, звонкоголосая и радостная от детей.

Так что и в январе найдешь чудеса.

# 74 Первые слезы

В пасмурный день в сосновой посадке сумрачно, глухо. Но каждый раз я стараюсь завернуть в нее, чтобы послушать тишину. Снег накрыл деревья сверху так плотно, что кажется: над всей посадкой – сплошной снежный потолок. А когда ветер пробежит поверху, заметет вдруг, заснежит. Все покроется метелью. Только успевай стряхивать снег с шапки и с плеч.

В солнечный же день лучше заехать в рощу за ручьем, где сосны вразбежку, полюбоваться, как солнце играет на молодой сосновой коре, покрывая ее золотистыми пятнами. А вчера здесь увидел первые слезы: блестящие смоляные крупинки выступили на сосновых веточках и запахли смоляным ароматом. Я сорвал веточку со слезинкой и привез домой. С мороза она и в комнате еще с полчаса дышит им. Поставил в вазу с водой, и руки опахнуло холодом, как не раз бывало в летнее время, когда спускаешься в низину. Эта веточка с шишками. Значит, еще и услышу, как они потрескивают, когда подсохнут и начнут отклеиваться, отходить их чешуйки. Надо же! Ведь не раз пробовал в лесу отделить эти чешуйки охотничьим ножом – ничего не получается. Они словно припаяны, словно слиты. Только под силу это крепкому клюву дятла. А тут сами щелкают, раскрываясь и роняя семена. Каждое семечко с крылышком, и, падая, крутится оно, вертится, словно заведенный махонький пропеллер. И чем ниже, тем быстрее. И уже листочек бумаги под вазой весь в них, в семечках.

Еще только февраль. Это первые робкие слезы весны. Настоящие слезы увидим в конце марта, когда заплачет соком каждая подраненная веточка клена, когда дятел наделает питьевых колечек на его стволе и будет пить из каждой пробоинки сладковатый сок. Потом заплачут березы.

Но все это будет когда-то. Потому и дороги эти крошечки смолы в пазухах молодых веток, что светятся издали расплавленным серебром.

# 75

Где-то на болотах кричали журавли. Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы. Лесное эхо подхватывало их крик, и он, усиленный и многократно отраженный гулкой органной звучностью сосновых стволов, окружавших болото, метался над топью. Крик этот не был резок или тороплив, нельзя было назвать его и трубным кличем. В нем было что-то глубинное, грудное, как в сильном женском меццо-сопрано, какой-то русалочий полувопль, таинственный и печальный, невольно уносящий воображение в мир полузабытых сказок детства.

Да и все из моего окна виделось мне здесь сказочным: и эта горстка высоких теремных изб на горке между двух озер – иные заколоченные, иные еще с живыми красными гераньками в нешироких резных оконцах; и поленницы березовых дров, сложенные у стен задымленных бань, заросшие вместе с банями высокой крапивой; и округлые, еще свежезеленые стожки, похожие на островерхие шлемы былинных витязей; и бесконечные изгороди-прясла с белобокими сороками на березовых кольях; и звон коровьих колокольцев, и мягкий голос рожка, искусно закрученного из длинного берестяного ремня, того самого старинного рожка, которым здешний пастух до сих пор скликает разбредшуюся по лесным тропам скотину. И леса, леса… Леса, в какую сторону ни глянь: черные, отвесные, с белыми мазками берез, с малинниками по сухим волокам, с россыпями рыжиков по опушкам, боры-брусничники, боры-моховики, глухариные и медвежьи заломы, журавлиные топи.

*(По Е. Носову)*

Вот и наступил тихий, безветренный вечер. Едва-едва брезжит заря, отражаясь в темных, почти неосвещенных окнах домов. Каждая веточка деревьев поразительно вырисовывается на иссиня-зеленом небе. В отдаленье слышится песня, но звуки в такой вечер смягчены, лишены обыденной резкости и немного таинственны. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и понемногу кружит голову.

Нелегок путь от корпуса до парка, есть еще опасность столкнуться с дежурным, не спускающим глаз с единственной дорожки, по которой не раз убегали воспитанники. И вот Сергей уже мчится изо всех сил в гору, несмотря на то что отчаянно колются и жалятся ветви густого кустарника, произрастающего на берегу пруда, пока не останавливается, наконец, на пригорке.

Затем, обессилевший окончательно, он не спеша проходит мимо забытой, никому не нужной оранжереи, обвешанной плетущимися растениями, и спускается к неширокой, но глубокой речонке. Наспех раздевшись, он без раздумья с разбегу бросается в студеную воду, достает ногами коряжистое илистое дно, на миг задыхается, обожженный жестоким холодом, и ловко переплывает реку саженками. И когда он, одевшись, не спеша выбирается наверх, то с наслаждением чувствует такую удивительную легкость, как будто все его тело потеряло вес.

# 77

Еще только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжелого зноя, каким дышит июльский день. Раскаленный воздух едва-едва колышется над немощеной песчаной дорогой. Еще не кошенная, но наполовину иссохшая, трава никнет и стелется от зноя, почти невыносимого для живого существа. Дремлет без живительной влаги зелень рощ и пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в полудремоте неугомонный кузнечик. Ни человек, ни животное – никто уже больше не борется с истомой. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы, овладевшей ими, непобедима, непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя по-прежнему и пляшет без устали в пахучей хвое. На некошеных лугах ни ветерка, ни росинки. В роще под пологом листвы так же душно, как и в открытом поле.

Но отправляться купаться не хочется, да и незачем: после купания еще больше распаришься на солнцепеке. Одна надежда на грозу, лишь она сможет разбудить скованную жарой природу и развеять сон.

И вдруг впрямь что-то грохочет в дали неясной и туманной, и гряда темных туч движется с юго-восточной стороны. В продолжение очень короткого времени, в течение каких-нибудь десяти-пятнадцати минут царит зловещая тьма, и вдруг все небо покрывается тучами. В мертвую глушь врывается резкий ветер, который, кажется, ничем не сдержишь. Он стремительно гонит перед собой столб пыли, беспощадно рвет и мечет древесную листву, безжалостно мнет и приклоняет к земле полевые злаки.

Вот-вот разразится гроза, и на обнаженные поля польется освежающий дождь.

# 78

В тот ранний весенний день я впервые увидел в руках у школьников букеты свежих чудесных роз – алых, белых, густо-исчерна-бордовых. Брянская земля – и розы? Это было нечто совсем уж несовместимое для меня, я знал свою землю всякой – истерзанной, залитой из конца в конец кровью, в оплывших пожарищах, в виселицах, видел ее дороги, заваленные трупами, видел глаза ее детей на иссушенных голодом, казавшихся старческими, лицах, с нездоровой, тонкой, морщинистой кожей.

Вся жизнь пронеслась передо мной, и рядом была могила матери; погост виднелся в полукилометре, в жидких весенних ракитах через поле, блестевшее по низинам весенней водой. Все это поле я не раз исходил из конца в конец, здесь я и пахал, и косил, здесь не раз вырастали высокие золотистые скирды, и веселая работа заканчивалась здесь, бывало, поздней ночью, когда в черное, душное небо высыпали звезды; многое вспомнилось, пока я перебирался через раскисшее поле; главное же, по-прежнему оставалось странное и непривычное чувство возвращения земли. Вдали черным полукружьем виднелась весенняя громада леса, над нею небо – стремительное, сквозящее…

На склонах пригорков, обращенных к югу, уже дымилась первая зелень, я шел, и еще казалось, что никакого прошлого нет, никогда не было и быть не может, что прошлое просто придумали, и что так называемое прошлое это и есть сам человек, его руки-ноги, его тело, сердце и мозг, его опыт, его поле и его небо, и что даже могилы – это живые письмена, всегда доступные, говорящие уставшему сердцу о самом сокровенном.

Насквозь пронизываемый ветром погост был невелик, тихо-тихо ныли готовые взорваться первой зеленью ракиты; погост располагался на песчаном взгорке, и здесь было сравнительно сухо. Я положил розы к подножию железного креста; было зябко и просторно вокруг, только светили горизонты, и от края до края свободно и вольно гулял ветер.

*(По П. Проскурину)*

# 79 Беспокойное сердце

То ли повздорил и взбунтовался, то ли занеможилось перед дорогой, а может быть, просто для интереса, но не полетел осенью со всеми один грач, да и на тебе. Поначалу скучал, с тоскливым криком провожал в путь-дорогу своих и чужих, прилетевших из северных краев. А потом успокоился. Кормился на свалке за городом и только изредка наведывался к грачиному городищу над кладбищем. Облетит все гнезда, сядет на самую высокую березу, потоскует, глядя на вымершее поселение, крикнет напоследок с болью и улетит. К весне, когда обсохли гнезда и стали сразу как-то выше и чернее, его можно было видеть здесь чаще. Знать, следил, как бы не заняли кто чужие. А начиная с первых мартовских дней, и вовсе зачастил. Кричит, тоскует, зовет. Да и как! Крикнет на одном месте, перелетит на другое, к парку, потом на Калининский поселок направится. Подумаешь, что грачи уже прилетели, а это он один управляется. То ли боится, чтобы своих не проглядеть, встретить, то ли просто людей порадовать, известить о весне.

А когда прилетели грачи, он не затерялся в большой черной стае. Везде поспевал, всех приветствовал, мирил. Он был так рад, что вряд ли и себе успел захватить жилье. А потом, когда утихомирилось, улетел со всеми на луга.

Махонькое у грача сердце, а вон какое беспокойное.

# 80

Едва забрезжил рассвет, как Ерофеич, известный местный садовод, был уже на ногах. В юности, защищая новую власть, он участвовал в боях под Царицыном и в одном из сражений потерял ногу. За доблестные подвиги Ерофеич получил пенсию и отправился на жительство в родной городишко. Ранее городок был захолустным, но славился по всей окрестности своими чудесными садами. Пристрастившись к садоводству, Ерофеич всецело посвятил себя этому благородному делу и терпеть не мог дилетантского к нему отношения.

Бывало, зайдет к нему горе-садовник Манкин, чтобы блеснуть своею ученостью, и обязательно произойдет инцидент. Он Ерофеичу и о хлорофилле, и о хлорофилльных реакциях жужжит в уши, своим интеллектом всячески похваляется, а в практике всегда проявляет косность. Ерофеич сердится, прыгает на деревяшке вокруг собеседника, брызжет во все стороны слюной и морщит свой веснушчатый нос. Сам Ерофеич был кристальной чистоты человек и, несмотря на свои широко известные удачные эксперименты, не имеющие прецедентов и сделавшие его известным, был очень скромен. После яростного диспута и ссоры он обычно долго не мог прийти в себя и продолжал брюзжать. Успокаивал его всегда сад. Чего только в нем не было! Все, начиная с затейливых растений, искусно взлелеянных садовником, и кончая простым можжевельником.

Ветви яблонь, вишен и черешен, украшенные кристалликами росинок, пригибаются от тяжести к земле. Солнце нещадно жжет старика, а он ползает вокруг розовых кустов и производит какие-то манипуляции. Больно уколовшись о шипы, Ерофеич только присвистнет да наденет, вздыхая, на руки специальные варежки. В полдень садовник обыкновенно закусывает на терраске под черепитчатой крышей. На столике расставлены немудреные яства. Вокруг них кружатся и жужжат пчелы и осы. Посередине стола красуются медовые коврижки вперемешку с творожными ватрушками и румяный крупитчатый пудинг с грецким орехом. Из напитков ставятся дрожжевой квас, топленое молоко да простокваша. Для аппетита Ерофеич всегда начинал обед с семужки или с копчушки, а далее хозяюшка потчевала его тем, что было под рукой. Подкрепившись, Ерофеич просил постлать ему циновку в готической беседке и шел отдыхать. Частенько в сад заходили юннаты, которых Ерофеич учил искусству садовничать.

# 81 Зацвела медуница

Ну и медуница! На улице похолодало, а ей хоть бы что. Цветет. Ведь три дня назад только еще набирала бутоны, а сейчас вон гляди: красота-то какая! И название такое музыкальное: меду-ни-ца. Распустилась в два цвета: на коротких стебельках то темно-розовые, то васильково-синие соцветия. Два периода жизни: молодость и старение.

Мне особенно дорог этот песенный цветок, потому что он был любимым у моей матери. Это первая весточка лета, раньше всех украсит своими огонечками лес. Не забыть, как в последнюю для нее весну я принес из-под Амачкина медуницу. Она лихорадочно дышала на соцветия, водила ими по своей восковой щеке и все повторяла: «Меду-ница! Расцвела, родимая». А у самой на глазах слезы.

Каждую весну я приносил на могилку матери эти цветы. Они быстро вяли, и на третий день уже и не на что было смотреть.

И этой весной я отправился за ними. Как отойдешь от Васильева угла и начнешь подниматься по тропке в лес, тут ее, медуницы, полным-полно, ступить негде. Она красуется то маленькими куртинами, то большими палестинами, то тянется и тянется цепочкой вдоль всей тропы, мимо барсучьих нор. И даже на тропку выскочить не побоялась. Правда, по этой тропке давно никто не ходил, она отволгла от снега, вот и поднялись на ней живые огонечки: розовые, фиолетовые, синие. Я выбрал пять цветочков с тропки, подрезал их и прямо с землей, с корешками – в пакетик из тетрадного листа. И все пять посадил на могилке, обложил снегом, что остался в овраге – пусть хоть сегодня поцветут.

И сколько было радости, когда и через неделю их увидел живыми. Прилетел шмель, в каждый цветочек-граммофончик наведался, ни одного не пропустил. Весь туда спрячется и не спеша сосет душистый цветочный сок. Только чуть склонится цветок от тяжести. А шмель выползет, радостно погудит вокруг и в следующий цветок заглянет. А вскоре прилетел еще один на сладковатый запах первого медоноса.

Я смотрю на скромные лесные цветы, слушаю гудение шмеля и радуюсь: а ведь взаправду прижилась здесь медуница.

Цветет медуница, открывает скромная красавица дорогу всей лесной благодати.

# 82 Такое не забывается

Я не раз встречал большие стаи птиц, отдыхающих на перелете, слушая их шум, суетню, радуясь торжеству жизни. А однажды…

Возвращался с прогулки от Заплатинского дола Гребешком, узкой тропинкой у края холма. С него в просветы между берез далеко видно: от горбатовской рощи до Гладкого луга, и весь разлив заречных лесов чуть ли не до Фоминок. Это вдали. А под тобой – разлившаяся Отрешна и множество маленьких озер по всем лугам.

Был конец дня. Тихо, безлюдно. И вдруг мое внимание привлек шум внизу. Сначала и не понял, что это могло быть, но ясно, что там, внизу, очень много чего-то живого, беспокойного. Стал внимательно приглядываться и – глазам своим не поверил: внизу были гуси. Их было очень много, не одна стая, так что, наверное, тесно им будет на этой Отрешной, под холмом.

Долго слушал их крики, возню, потом осторожно спустился по тропке на лесной уступ. Это и ниже, и ближе к гостям. И там, завороженный зрелищем, простоял до самой темноты, стараясь ничем не выдать себя, все ожидая, когда они успокоятся и чем все кончится. Но так и не дождался. Уже темнело, а не было конца их беспокойству: гогочут, шумят, передвигаются с места на место, мешаются. Выделяются чьи-то голоса, кто-то, видно, командует. Наверное, помешались стаи, перемешались все гуси в этой большой семье, вот и ищут своих вожаки. А может быть, идет знакомство с гусями из других стай. Но мне показалось, что их крики тревожные, беспокойные. А может быть, они по-другому и не могут разговаривать, да и собралось их так много вместе. Нехотя поднимался я снова наверх, унося в сердце этот предвечерний беспокойный шум.

Хотел прийти сюда рано утром, да раздумал: зачем? Беспокоить? Да их уже и нет там наверняка: нашумелись вдоволь, поделились, нашли своих, а с зарей поднялись на крыло и улетели.

Каждый год во время птичьих перелетов я прихожу под вечер на Гребешок в надежде увидеть еще раз этих больших беспокойных птиц. Но напрасно. Видно, такое можно увидеть только раз в жизни.

# 83 Русская метелица

Разыгралась сегодня метель, разметелилась. Это первая в этом году. Ветер дует с поля, но это только кажется, потому что все крутит и кружится, все кипит, словно в котле. Я выехал на лыжах, когда она стала немного стихать. Ветер обжигает лицо, видимость только на несколько метров вокруг. Забираю вправо, чтобы попасть в посадку и чуточку отдохнуть, переждать. И здесь показалось так уютно и тихо, словно заявился не в сосновую посадку, а в родительский дом.

Потом снова дорога полем, снова крутит и воет метель, колет лицо и слепит глаза. И никакой лыжни, одни сугробы. Но вот наконец и лес. Глухо шумят вершинами деревья да поскрипывают на ветру близнецы-сосны. Их две, они встали рядом, встали вровень, не узнаешь, которая из них старше, обвились ветвями, словно руками, не разнять. Ветер старается разъединить их, им нелюбо, вот они и возмущаются. А чуть дальше у тропы звенят на ветру, словно железные, сухие дубовые листья, не в силах оторваться от веток. Они все жалеют и жалуются кому-то, что вовремя не упали на землю.

В узком овражке отстал от старой березы почти у самого комля кусочек коры, отъединился, образовав темную расселинку. И попрятались в ней от вьюги синички, прижались друг к дружке, присмирели, и видны оттуда, из темноты, одни лишь синичьи клювики и глаза. И речка спряталась под снегом, только на середине осталось одно черное оконце, через которое и можно ей поглядеть на небо.

Я подъезжаю поближе и вижу в то оконце, что не спит речка, живет она, струится, видно ее чистое песчаное дно.

Весь день веселилась метель, все прикрыла, все запеленала, всех убаюкала своей вьюжной песней, ничего не обошла. Куст можжевельника спрятался, стал белым, пухлым, неколючим, скрылись под снегом кочки, пни, канавы. Но, наконец, отгуляла свое вьюга, устала, успокоилась. Снежинки уже опускаются лениво. С наскоро наметенных сугробов только летит снежная пыльца. А вот и ветер стих, и стало кругом тихо, цепенеет в безмолвии и поле, мягкое, чистое, чуточку бархатистое.

Я люблю такую метель, не дикую, страшную, не степной буран, но такую вот русскую, что любит, однако, лихо пройтись по полю, повеселиться, поозоровать. На то она и зима.

# 84

Тишина в лесу происходила от того, что свет, задержанный многоэтажной хвоей, не шумел, не звякал, а, казалось, осторожно окутал землю.

Они шли по-прежнему молча, они были вместе, и только от этого все вокруг стало хорошим, и пришла весна.

Не условившись, они остановились. Два отъевшихся снегиря сидели на еловой ветке. Красные толстые снегирьи грудки показались диковинными цветами, раскрывшимися на заколдованном снегу. Странной, удивительной в этот предночной час была тишина.

В ней была память о поколении прошлогодней листвы, об отшумевших дождях, свитых и покинутых гнездах, о детстве, о безрадостном беспрестанном труде муравьев, о вероломстве и разбое лис и коршунов, о мировой войне всех против всех, о злобе и добре, рожденных в одном сердце и вместе с этим сердцем умерших, о грозах и неистовом громе, от которого вздрагивали души зайцев и стволы сосен. В прохладном полусумраке, под снегом спала ушедшая жизнь – радость любовных встреч, апрельская неуверенная птичья болтовня, первое знакомство со странными, а потом ставшими привычными соседями. Спали сильные и слабые, смелые и робкие, счастливые и несчастные. В опустевшем и заброшенном доме происходило последнее прощание с умершими, навсегда ушедшими из него.

Но в лесном холоде весна чувствовалась напряженней, чем на освещенной солнцем равнине. В этой лесной тишине была печаль большая, чем в тишине осени. В ее безъязыкой немоте слышался вопль об умерших и яростная радость жизни…

Еще темно и холодно, но совсем уж скоро распахнутся двери и ставни, и пустой дом оживет, заполнится детским смехом и плачем, торопливо зазвучат милые женские шаги, пройдет по дому уверенный хозяин.

*(По В. Гроссману)*

# 85

Было еще совершенно темно, когда легким прикосновением к плечу разбудил меня слуга-малаец в моей маленькой спальне, говоря мне, что провожатый из ботанического сада ждет меня и торопит, чтобы не опоздать на поезд железной дороги. В полумраке ночи (ибо было еще только половина шестого, а солнце встает здесь почти ровно в шесть) я почти ощупью отыскивал принадлежности своего костюма, отказываясь от тех услуг, которые предлагал мне мой служитель, привыкший здесь, на Яве, помогать одеваться приезжим господам, в этом отношении совершенно еще сохранившим привычки наших бар времен крепостного права. Трепетный свет лампадки слабо озарял тесный номер. Странно как-то было видеть эту принадлежность божницы благочестивого православного дома здесь, на Яве, в другом полушарии, в иной совершенно обстановке, у людей иной религии. Конечно, здесь не было образов и назначение лампадок было другое: освещать комнату, заменяя свечи, лампы и иные светильники, принятые в европейских домах большей части образованного мира. В маленьких, полутемных каморках, какие представляют из себя номера яванских гостиниц, это обычное, можно сказать единственное, общепринятое освещение. И немного надо пожить, чтобы убедиться, что не рутина, не стремление сохранить старый обычай, но сама необходимость заставляет европейца и туземца прибегать к этому источнику света, столь многое напоминающему закинутому в даль чужеземных стран русскому путешественнику.

Спальня, или, говоря по-нашему, номер гостиницы, действительно предназначена здесь только для сна. Кому охота остальную часть дня при двадцатидвухградусной жаре мягкого тропического воздуха, сохраняющего одну и ту же температуру и лето и зиму, сидеть в комнате, когда для этого есть веранда, широкая и просторная, где стоит ваш стол для занятий, где висит лампа, где вы обыкновенно и проводите ваше время.

В комнату же вносить свет вечером и небезопасно. На него отовсюду полетит великое множество бабочек, крылатых муравьев, этих распространеннейших из тропических насекомых; они усыплют вам весь стол и, чего доброго, привлекут за собою и более неприятных и опасных охотников за ними. И так настороже постоянно по стенам бегает около десятка ящериц серовато-палевого цвета, нельзя сказать чтобы особенно красивых, но чрезвычайно любимых не только туземцами, но и европейцами. Эти гэкко, как их прозвали за их крик, свободно бегают по стенам

и по потолку и истребляют всякое появляющееся насекомое, предотвращая этим самым появление пауков, гостей под тропиками не особенно желанных, а иногда и очень опасных. Благодаря гэкко вы их не видите в малайском доме, вы можете жить здесь в такой же безопасности от всякого гада, как в петербургской квартире, и за это вы, конечно, миритесь с не совсем привлекательной внешностью этой ящерицы, почти столь же необходимой обитательницы яванского дома, как черный таракан великороссийской кухни.

*(По А. Краснову)*

# 86

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен, сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась, пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными пучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов.

Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника достигали таких размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровяки по дымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить.

*(По В. Гаршину)*

# 87

Васек, как звали его и отец с матерью, и бабка с дедом, и все соседи, и погодки, с которыми он с утра до темной ночи пропадал на улице, белоголовый пятилетний мальчуган, взбрыкивая, слепой от восторга, несся навстречу солнечному ветру верхом на ореховой палке, а сзади, визжа, подстегивал ее гибкой хворостиной. Опушка березового леса была не то что наполнена, а словно налита до краев солнечным светом, воздух от этого был какой-то золотистый. Отражаясь от ослепительно белых стволов берез, солнечный свет на легком сухом ветру дробился, разлетался радужными осколками; было больно смотреть, не прищурив глаз. И Ваську больно глазам, и он несется по лесу, почти зажмурившись, вслепую, но солнце прорывается и сквозь веки; белые стволы берез мелькают вперемежку с радужными пятнами света, и по высокой и сочной майской траве повсюду развешаны большие ярко-синие лесные колокольчики; в упоении жизнью Васек не щадит их, рубит хворостиной на бегу, и они, переламываясь в стебле, опадают лиловыми пятнами в густую, сочную зелень.

Васек круто заворачивает и удивленными, сразу широко раскрывшимися глазами осматривается. Он успел забежать довольно далеко; он был в низине, толсто устланной опавшей прошлогодней листвой с пробивающейся сквозь нее острой и редкой травой. Солнце тут до земли не доходило, солнечный ветер вовсю бушевал где-то там, над плотно сомкнувшимися кронами кленов, ясеней, а у земли была тишина, и даже ветер сюда не прорывался. Васек слегка повернул голову, и холодная дрожь сладко облила его с головы до ног. Вывороченное из земли дерево, судорожно выставившее вверх причудливо перевитые корни, поначалу показалось ему огромным живым существом, готовым вот-вот броситься на него. Отец рассказывал, что в лесу водятся и волки, и дикие кабаны, и даже медведи; вывороченные, вставшие дыбом корни и показались ему вначале медведем.

*(По А. Проскурину)*

# II раздел. 8–11 классы Синтаксис и пунктуация

# 1 Трясогузка

Трясогузка давно живет рядом с нами, радуя приятным щебетаньем и пестрой окраской. У этой веселой проворной птички своя красота – на первый взгляд неброская, но запоминающаяся. А вечное помахивание хвостиком не может не вызвать улыбки. Кстати, из-за этой своей привычки трясогузка и получила такое имя.

Белые трясогузки обычно устраивают свои гнезда в выемках берегов, в щелях между большими камнями, в дуплах прибрежных деревьев, а вблизи человеческого жилья – под крышами домов, в нишах построек, в густых ветвях растущих в скверах елей. Их можно встретить на самых оживленных улицах городов, в аэропортах, на мостах. Иногда птички гнездятся даже на речных судах, и их не смущает, что приходится совершать вместе с ними многокилометровые путешествия.

Трясогузка искусно маскирует свое гнездо. И яйца она откладывает неприметные: маленькие, в крапинку. Самые грозные ее враги – вездесущие кошки, но тем не менее птичке почти всегда удается вырастить своих питомцев.

Гнездо белой трясогузки выглядит как неглубокая чаша, небрежно собранная из стеблей и листьев, с лотком, выложенным конским волосом и шерстью. В кладке – пять или шесть белых с сероватыми отметинами яиц. В южных регионах у трясогузок бывают две или даже три кладки за лето. Насиживание длится около двух недель, и все это время самец заботливо кормит самку, а потом вместе с нею – и вылупившихся птенцов.

Улетают от нас белые трясогузки довольно поздно, с наступлением устойчивых заморозков. При этом они собираются в стаи, состоящие из нескольких десятков особей.

# 2 Ёж

Из всех, встречающихся в природе ежей, самый известный – обыкновенный еж. Ёжик – закадычный друг детства. Все его знают, все его любят, все его когда-нибудь видели. Его можно встретить везде – в лесу, в роще и в саду. Бегает не таясь, шуршит листьями, громко сопит и топает. Знаменит он своими колючками и тем, что непременно убежит, как бы его ни берегли.

Весной, перед тем как обзавестись потомством, ежи строят гнездо. Ежата рождаются слепыми, глухими и голенькими. Постепенно у них открываются глаза, прорезывается слух, появляются иголки. Полтора месяца ежиха водит малышей на прогулку, как курица цыплят, обучая их разным лесным премудростям.

Ежи – очень полезные зверьки. Уничтожают мышевидных грызунов, слизней, насекомых-вредителей. Ёж любит молоко, ловит мышей и лягушек, смело вступает в бой с гадюкой. При тревоге сворачивается в колючий шар; если трогать его, грозно пыхтит и поддает иголками. А если не трогать, то скоро высунет из колючек свой мокрый нос, пошмыгает им и выставит глаз. Нет никого – покатится колобком дальше.

Люди, как правило, к ежам относятся хорошо, даже часто стараются приручить их, поселить дома. Если его домой взять да приласкать, он скоро и сворачиваться перестанет. И иголки его в одну сторону лягут – гладь как котенка. Станет совсем домашним, этакий топотун-хлопотун.

И невдомек этим людям, что, принося зверька домой, они его губят. Ежу в доме плохо, даже если его кормят, поят молоком, заботятся о нем. Паркет и линолеум никогда не заменят ему землю, деревья и кустарники. Кроме того, держать ежей в доме просто опасно: ведь клещи, живущие на ежах, разносят тяжелые заболевания.

Ёж – симпатичный и очень полезный зверек, и пусть он живет там, где ему положено, а мы будем радоваться встрече с ним на лесной поляне.

И вот оказывается, что у этого знакомого всем зверька тоже тайна есть. Ёж будто бы весною… поет! Да не как-нибудь, а по-настоящему, чем-то похоже на птицу.

# 3 Домашний зверь – Боба

Ко мне этот сурчонок попал совсем плохим – отравился крысиным ядом и едва-едва дышал. Добыл я молока и стал вливать его в рот сурчонку из самодельной пипетки.

На следующий день Бобе стало лучше, а еще через сутки она разбудила меня ночью. Я сначала испугался, приняв ее за крысу. Оказывается, Боба решила устроиться спать на моей подушке.

Когда Боба совсем оправилась от болезни, я понял, с каким «сокровищем» мне предстоит жить. Для Бобы не было ничего невозможного: она свободно взбиралась на газовую плиту и носом сталкивала оттуда посуду. То же самое она делала и на столе. В первый день после болезни она очистила его от красок и бутылок с разбавителем. Пол сделался очень красивым – разноцветным.

Сама Боба в тот же день вывалялась в синей краске и сразу же улеглась на постель. Можете себе представить мою «радость», когда я увидел на подушке зверя, похожего на баклажан.

Боба научила меня аккуратности. Закончив работы, я тщательно закрывал банки с красками и ставил их на полки. А ботинки и тапочки убирал в духовой шкаф, иначе их надо было долго искать.

Заканчивался срок моей командировки, надо было возвращаться в Москву. День отъезда стал для Бобы праздником: все мои вещи были выложены наружу, готовились для укладывания в чемоданы и ящики. Боба активно «помогала» мне: хватала и прятала под газовую плиту зубную щетку, тащила в угол рубашку, выбрасывала из чемодана то, что я успел туда уложить.

В самолете Боба изводила меня своими капризами: все время пыталась спрыгнуть с моих колен на пол, царапалась и взвизгивала всякий раз, когда я хотел водворить ее на место. Свободно вздохнул я только в собственной квартире.

# 4 Гроза

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь-десять; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по неширокой пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная темно-лиловая туча медленно поднималась из-за лесу; надо мною и мне навстречу, длинные, серые, неслись облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в неглубокий овраг, перебрался через ручей, наполовину высохший и заросший лозняками, поднялся в гору и въехал в лес.

Дорога вилась передо мною между чересчур густыми кустами орешника, уже окутанными мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки отчаянно прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины – следы тележных колес; моя некованая лошадь начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния – и гроза разразилась. Дождь полил ручьями.

Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, терпеливо ожидал я конца ненастья.

Наконец дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады уже отчасти рассеянных туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над головой уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Небо все более расчищалось, в лесу заметно светлело.

*(По И. Тургеневу)*

# 5 Утки

Знакомая в последние годы москвичам картина: по Москве-реке у самых стен древнего Кремля плавают дикие утки. Не спеша, без опаски, с достоинством. Ныряют за кормом на дно реки, жадно хватают куски хлеба, которые им бросают с высокой набережной люди. Порой кажется, что они домашние. Но нет, время от времени утки стремительно взмывают в голубое небо и, напряженно вытянув тонкие шеи, быстро и мощно трепеща крыльями, со свистом проносятся над городом. Дикие утки не только живут и кормятся в черте огромного города, но и размножаются. На канале я видел утку с выводком: пять крошечных серых пушистых комочков плыли за матерью.

Знакомый охотник рассказывал, что заметил такую интересную закономерность: количество диких уток на водоемах столицы резко увеличивается с началом весенней и осенней охоты: умные птицы, очевидно, давно сообразили, что в черте города они находятся в полной безопасности от охотников, и слетаются сюда со всех подмосковных озер и рек.

А сколько уток остается в Москве зимовать! Может, они знают, что наступающая зима будет теплой и что незачем им лететь за моря-океаны в жаркие страны, бить попусту крылья, подвергать себя многочисленным опасностям тысячекилометрового перелета, если можно весьма сносно перезимовать на не замерзающих, благодаря теплым сбросовым водам промышленных предприятий и электростанций, городских водоемах, добывая себе корм со дна озера и получая его из рук подобревшего к ним человека.

Может быть, уток в нашем городе стало больше потому, что вода в Москве-реке стала чище, а значит, и корма для них стало больше? Но как бы там ни было, а это замечательно, что в небе столицы летают не только голуби, галки и вороны, но временами на фоне унылых серых железобетонных громадин-небоскребов стремительно проносятся дикие утки. И, любуясь их свободным полетом, ты становишься чуточку счастливее, добрее, лучше.

# 6

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это летели журавли.

Я поднял голову: большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо к югу.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовичок. Шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

«Счастливо, друзья!» – крикнул он и помахал рукой вслед птицам. Потом он опять забрался в кабину, открыл боковое стекло, высунулся, смотрел и смотрел и все слушал плеск и переливы птичьего крика.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре.

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались с Россией, с ее болотами и чащобами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий свежестью.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно днем и ночью.

# 7

Желтая трясогузка, или плиска, – столь же обычная для наших широт птица, как и всем известная белая трясогузка, только обитает она в богатых разнотравьем сырых зеленых лугах, а потому не всякий с ней встречался. В отличие от белых трясогузок, эти птицы боязливы и взлетают при первых признаках опасности.

Желтые трясогузки мельче белых, и они особенно ловко пользуются крыльями. Когда пташки перепархивают с места на место, то кажется, будто они не летают, а скачут.

На местах гнездования желтые трясогузки появляются в середине апреля. Сначала прилетают взрослые самцы, а самки появляются на неделю позже. Гнездо птицы обычно устраивают под корнями деревьев, в углублении у основания кочки или бугорка, поросшего густой травой. Соломинки, клочки пуха чертополоха, шерсти, несколько перьев и волосков устилают гнездо внутри. Быстро растущая трава вскоре укрывает жилище и хорошо его маскирует. Самец охраняет самку и при первой же опасности издает тревожные крики, на которые слетаются птицы с соседних участков. Рассевшись на кустах, они начинают щебетать, отвлекая врага за пределы опасной зоны.

После появления на свет птенцов самка еще целую неделю находится в гнезде, обогревая их, а затем включается в выкармливание. Птенчики сидят в гнезде очень плотно друг к другу и не подают голоса, в отличие от птенцов хищных птиц, которые поднимают крик на весь лес, когда родители прилетают к ним с кормом. И что примечательно: когда птенцам приходит время вылетать из гнезда – ничто не может их остановить! Дождь ли, непогода – вылетевшая пташка сидит и дрожит в траве, довольная уже тем, что совершила главное дело своей жизни.

Через две-три недели после рождения птенцы уже летают, а родители в конце июня приступают ко второй кладке. Молодые же откочевывают в прибрежные тростники и на заросшие побережья водоемов, где объединяются в предотлетные стаи. И, в один прекрасный осенний день взрослые и молодые трясогузки отправляются в теплые края.

# 8 Кто как ловит рыбу

В камчатском заповеднике, там, где в Тихий океан впадает речка Кроноцкая, людям рыбу ловить нельзя, а зверям можно.

Удобнее всего ловить рыбу орлану-белохвосту: вода в реке прозрачная, с высоты всех рыб видно – выбирай, какую захочешь. Стремительно бросается орлан вниз и хватает большими острыми когтями рыбину.

В самом устье живут нерпы. Выстроятся они поперек речки от берега до берега, ни одной мелкой или большой рыбины не пропустят – всех переловят. Наловятся досыта и ложатся всей компанией поспать на мелком месте.

Чуть выше по течению живет выдра. Она плавает не хуже рыбы. Поймает рыбку и играет с ней: ныряет, кувыркается, отпускает, снова ловит и только потом съедает.

Больше всего рыбы может наловить медведь. Идет мишка по берегу, по тропинке и все время в воду смотрит. Увидит недалеко рыбину, встанет на задние лапы, чтобы получше рассмотреть добычу, да как прыгнет, как шлепнется в воду! Прижмет рыбу ко дну, а она скользкая, сильная, из лап выворачивается. Прикусит медведь ее зубами и к берегу тащит, в укромное место. А тут его уже ждут нахлебники: вороны, чайки. Все, что медведь не доест, птицам достанется.

Волки тоже рыбу ловят. Но не любят они холодную воду, подстерегают рыбу на самых мелких местах, где спина рыбины из воды торчит, за спину-то волки ее и вытаскивают.

И чайки – хорошие рыболовы. Устанет рыба горбуша вверх по течению плыть, остановится у берега передохнуть, а чайка ее за хвост – и на берег. А ворон тут как тут, сам рыбачить не умеет, зато сильный, чайку прогонит и сам лакомится. А потом придет евражка, маленький полярный суслик, и унесет остатки рыбы к себе в норку.

## 9

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка – мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острей пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретой пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город – празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город – храм, возведенный трудами людей, всякая работа – молитва Будущему.

Солнце – в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья – солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море, – смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек – все это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

*(По М. Горькому)*

# 10

Прошло около часа, как мы расстались с нашей компанией, и нам оставалось немного подняться, чтобы достигнуть вершины горного хребта, где, как говорили, есть роскошные долины и леса. Подъем становился все круче и круче. Приходилось делать беспрестанно крутые повороты, и мы решили немного посидеть на бугорке, покрытом порыжевшей, выжженной травой, а по краям какими-то невиданными цветами. Мы, жители северных равнин, впервые были на такой высоте. Внизу тянулись бесконечной вереницей длинные серые облака, то открывая, то закрывая окрестности.

Неподалеку от нас, на утесе, красавец-орел терзал свою добычу: бедный зайчишка, должно быть, попался на обед пернатому хищнику. С жадностью поглощая окровавленные куски один за другим, он на минуту останавливался, поглядывая по сторонам, и, крепче впиваясь когтями в добычу, снова продолжал свою работу.

Мы не просидели и четверти часа, как внезапно почувствовали какую-то необыкновенную свежесть, точно вошли в погреб, и оглянулись: темная туча начинала заволакивать не только то место, где мы сидели, но и близлежащие. Мы бросились вниз. Минуты через две не было видно ни бугорка, на котором мы расположились отдохнуть, ни утеса, на котором сидел орел, так как туча все собой закрыла. Стал накрапывать дождик, вскоре перешедший в ливень. Дорожка, по которой мы карабкались незадолго перед этим, превратилась в ручей, кативший вниз вместе с камнями свои вспенившиеся струи. Поднялся свежий восточный ветер, и мы, иззябшие, промокшие до последней нитки, измученные, воротились домой, посмеиваясь друг над другом и ничуть не сожалея ни о потраченном времени, ни о своем предприятии, давно задуманном, но, к сожалению, не доведенном до желанного конца. Может быть, нам удастся этого добиться в другой раз.

# 11

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России – лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново – на ощупь, на вкус, на запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами – полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело – знать умозрительно, а другое дело – испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

*(По К. Паустовскому)*

# 12

Заповедный лес под Воронежем – последний на границе донских степей. Он слабо шумит, прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку – и в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветреная, как море.

Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга.

Но прежде всего откроется небо – высокое степное небо с громадами синеватых облаков. Их немного, но они почти никогда не закрывают солнца. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца.

В степи, недалеко от старого липового парка, проблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат – никак не могут отдышаться от сухой жары – сонные лягушки.

Липовый парк, изрытый блиндажами – разрушенными и заросшими дикой малиной, – слышен издалека. С рассвета до темноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип – таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова.

С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто ранним утром я уходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей, будто выныривали из воды, и опрометью неслись в глубину парка.

Должно быть, это было красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался идти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса.

Я приходил на речку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека.

# 13

Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные остановки просто так, с тоски и от буйства сил? Кто стонет и визжит во время сеанса в кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? Кто врубает на всю ночь проигрыватели, чтобы повеселить соседей? Кто…

Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так много. Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? Не оттого ли, что мы примирились с ними, опустили руки? Владимир Даль, опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени… На пакость всякого станет…»

Пакость чаще всего творится скрытно. Если бы ее «засветили», если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе происходит и для него делается. Если бы пакостить негде было, не рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы нам кончать с очень многими дурными наклонностями.

Пакость многообразна, границы ее бывают размыты житейским морем или сомкнуты с некими нагромождениями, разломами, выносами. Пакость может быть незаметной, но безвредной никогда не была и не будет.

Ох, сколько мы слов извели, сколько негодования высказали, сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех грамотных народов написали, и все с приставкой «не»: «не курить!», «не бросать», «не переходить», «не шуметь», «не распивать». И что же, пакостник унялся? Притормозил? Засовестился? Да он как пакостил, так и пакостит, причем, по наблюдениям моим, особенно охотно пакостит под запретными вывесками, потому что написаны они для проформы и покуражиться под ними пакостнику одно удовольствие, ему пакостная жизнь – цель жизни, пакостные дела – благо, пакостный спектакль – наслаждение, и тут никакие уговоры, никакая мораль, даже самая передовая, не годится, тут лишь одно средство возможно, оно, это верное средство, мудрым батюшкой Крыловым подсказано более ста лет назад: «Власть употребить!»

И силу, добавлю я, всеобщую, народную!

*(По В. Астафьеву)*

# 14

Мещанин – это взрослый человек с практичным умом, корыстными, общепринятыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды. Я говорю именно о «взрослом», солидном человеке, так как ребенок или подросток с повадками мещанина – всего лишь попугай, подражающий манерам законченных обывателей; ведь попугаем быть легче, чем белой вороной. Обыватель и мещанин – в какой-то степени синонимы: в обывателе удручает не столько его повсеместность, сколько сама вульгарность его представлений.

Обыватель – явление всемирное. Оно встречается во всех классах и нациях. Английский герцог может быть столь же вульгарным, как и американский пастор; рабочий или шахтер нередко оказываются такими же откровенными буржуа, как банковский служащий или голливудская звезда.

Мещане питаются запасом банальных идей, прибегая к избитым фразам и клише, их речь изобилует тусклыми, невыразительными словами. Истинный обыватель весь соткан из заурядных, убогих мыслей, кроме них у него ничего нет. Но надо признать, что в каждом из нас сидит эта заклишированная сущность, и все мы в повседневной жизни прибегаем к словам-штампам, превращая их в знаки и формулы. Это не означает, однако, что все люди – обыватели, но предостерегает от машинального обмена любезностями.

Обман – верный союзник настоящего обывателя. Великие слова Красота, Любовь, Природа – звучат в его устах фальшиво и своекорыстно. Таков, например, Чичиков из «Мертвых душ».

Обыватель с его низменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться, пролезть разрывается между стремлением поступать как все и страстным желанием принадлежать к избранному кругу.

Он не увлекается и не интересуется искусством, в том числе и литературой – вся его природа искусству враждебна, – но с жадностью поглощает всяческую информацию и отлично натренирован в чтении газет и журналов.

В своей приверженности к утилитарным, материальным ценностям он легко превращается в жертву рекламного бизнеса.

У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства – пошлость. Пошлость – это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная

привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд.

*(По В. Набокову)*

# 15

Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу.

Природа – это материал для хозяйства всего человека и зеркало пути каждого из нас к истине. Стоит только хорошо задуматься о своем пути и потом из себя поглядеть на природу, как там непременно увидишь переживание своих собственных мыслей и чувств.

Вот как просто, кажется, бегут, догоняя друг друга по проволоке, капельки воды дождевой: одна задержалась, другая нагнала ее, обе слились в одну и вместе упали на землю. Так просто! А если задуматься о себе, что переживают люди в одиночку, пока не найдут друг друга и не сольются, и с этими мыслями станешь исследовать капли в их слиянии, и окажется – у них тоже не так просто капли сливаются.

И если посвятить себя этому изучению, то откроется, как в зеркале, жизнь человека и что вся природа есть зеркальный свидетель жизни всего человека-царя.

В природе вода лежит, и ее зеркало отражает небо, горы и лес. Человек мало того что сам встал на ноги, он поднял вместе с собой зеркало и увидел себя, и стал всматриваться в свое изображение.

Собака в зеркале видит в себе другую собаку, но не себя.

Понять себя самого в зеркальном изображении скорее всего может только человек.

История культуры и есть рассказ о том, что увидел человек в зеркале, и все будущее наше в том, что еще в этом зеркале он увидит.

*(По М. Пришвину)*

# 16

Наши разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей – из определенных чувств, свойств, понятий.

Одно из таких чувств – чувство милосердия. Термин для большинства старомодный, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» – даже словарь дает их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

Слова стареют не случайно. Милосердие. Что оно – не модно? Не нужно?

Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Древнее это необходимое чувство свойственно всему животному сообществу: милость к поверженным и пострадавшим. Как же получилось, что чувство это в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным? Мне могут возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, отлив милосердия из нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства…

Недавняя трагедия в Чернобыле всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства, люди вызывались помогать и помогали – деньгами, всем, чем могли. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, которое всегда было свойственно нашему народу: так всегда помогали погорельцам, так помогали во время голода, неурожая…

Но Чернобыль, землетрясения, наводнения – аварийные ситуации. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в нормальной, будничной жизни, от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о соседях, друзьях, нуждающихся в этом…

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

*(По Д. Гранину)*

# 17

В юности узнать о жизни из книг можно гораздо больше, чем из самой жизни. Это чуткая пора, когда оформляется и расправляет крылья сознание, когда мысль ищет ответа на извечные гамлетовские вопросы, – так где же, как не в литературе, искать в эту пору молодому человеку ответа, как жить ему в обществе, как обрести счастье, как научиться любить. Ведь и любовь доступна не каждому. Это чувство требует духовной тонкости, психологической гибкости и, если хотите, определенной эмоциональной культуры. Когда всеведущий обыватель бубнит, что «дурацкое дело нехитрое», то, как вы сами понимаете, речь идет не о любви, а совсем о другом. Любовь – прекраснейшее состояние в нашей жизни, помогающее понять себя и других, природу в движении, красоту добра и самоотверженности – целый мир. А прекрасному надо учиться и ценить его, подобно тому, как надо научиться чувствовать высокую музыку, философскую или лирическую глубину художественного полотна, рвущуюся в небо стрельчатую готику соборов или причудливые раковины архитектуры рококо, пластический язык скульптуры.

Наверное, раз в год в Москве исполняют «Реквием» Моцарта. Совершенно незнакомые между собой, но объединенные единым чувством люди откровенно плачут в том эпизоде, где оборвалась жизнь великого композитора, эта часть так и называется – «слезная». Но есть среди слушателей и такие, что пришли сюда из побуждений суетных либо престижных и с душной мукой скуки ждут не дождутся окончания вещи, искусственно выдерживая на лице подобающее моменту выражение сосредоточенной скорби. Дело не в том, что они лгут себе и окружающим, дело в их драматичной эмоциональной необразованности. Бойтесь, панически бойтесь этой духовной пустоты, ибо она страшно обедняет нас, отнимает у жизни половину красок, половину красоты, как, впрочем, порождает и равнодушие к литературе.

И Лев Толстой говорил о музыке, после которой «необходимо совершать необыкновенные поступки». Здесь обнажается причинно-следственная связь между нашими действиями и нашим сознанием. Красота и культура формируют и лепят душу, чистое и здоровое миропонимание, не могут вести к дурным поступкам и никогда не смирятся с серой и бездеятельной жизнью. Но поступки – это следствие. Поэтому с младых лет надо самому заботиться о строительстве своего духовного «я», и среди других «строительных материалов», создающих одухотворенный

континент мысли и чувства (формы, линии, цвета, музыкальной фразы), полновесное и животрепещущее Слово стоит, безусловно, на первом месте. Именно оно как проводник, готовый всегда прийти на помощь, осуществляет связь времен, пространств и поколений.

И, пониманию прекрасного надо учиться. Еще Сократ сказал: «Прекрасное – трудно».

*(По Ю. Бондареву)*

# 18 Весенняя ночь

Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава» – первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно, никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и ныне: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти воду из тяжелой обуви.

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую верею (верея – холм, высоко возвышающийся над болотом). Почти всегда на ней свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, а четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелой корою, протянулся и точно дрожит Бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на никому не видимом буксире маленькую отважную звездочку-лодку. Порой они оба: и бригантина, и малая шлюпочка – раз за разом ныряют в белые, распушенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

*(По А. Куприну)*

# 19

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветви. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы.

Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирною игрою перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь, далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, – все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби.

Вы не двигаетесь – вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите – та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания; и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины.

*(По И. Тургеневу)*

# 20

Есть люди, о которых говорят: «Это человек слова!» Значит, на такого человека можно положиться – он выполнит свое обещание без напоминания.

Вы обещали позвонить по телефону товарищу и не позвонили – забыли. Вы опоздали на свидание, на деловую встречу, а то и вовсе не пришли, сославшись потом на нездоровье или другую причину. Вас попросили опустить по пути письмо в почтовый ящик, а вы протаскали его в кармане всю неделю.

Мы довольно часто совершаем такие мелкие «предательства», не придавая им большого значения, не замечая их и не прощая друг другу. Эта небрежность в человеческих отношениях вошла у многих в привычку.

«В конце концов, не на этом строятся отношения между людьми», – думают некоторые. И ошибаются. Они просто не понимают, насколько легче жить людям организованным, обязательным.

Как же стать таким человеком?

Здесь трудно дать рецепт, но многое, по-моему, зависит от самовоспитания.

С юных лет надо научиться заставлять себя делать не только то, что хочется, а и то, что надо. Не откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня, сейчас.

*(По С. Михалкову)*

# 21

Вандализм – это разрушение культурных ценностей. Вандалу свойственна ненависть ко всему прекрасному. Но, очевидно, от ненависти ко всему прекрасному, к произведениям искусства очень недалеко до ненависти ко всему, что сотворено другими людьми и для общей людской пользы. Ко всему, во что другой человек вложил и ум, и талант, и труд.

Нельзя сказать, что это у нас новое явление, вызванное сегодняшним неустройством жизни. Это у нас происходит уже давно.

Не успеет выйти на линию первый вагон пригородной электрички, глядишь, уже кто-то порезал обивку сидения. Маляры покрасили забор – не пройдет и месяца, как он уже весь изукрашен названиями популярных музыкальных групп, эмблемами футбольных команд.

А подъезды наших домов? О чем думал человек, выламывая двери? Почему непременно надо разбить лампочку, взломать почтовые ящики, поджечь лежащие там газеты, разрисовать изнутри лифт, набросать в него объедков и окурков?

Но ведь противно видеть день за днем, уходя из дома и возвращаясь, выломанные двери, разбитые лампочки, изгаженные лифты. Все это унижает наше человеческое достоинство и достоинство ребят, живущих в домах, обезображенных вандалами.

*(По И. Стрелковой)*

# 22 Настенькины одуванчики

Настенька, внучка бабки Марфы, была рыжая, рыжая как солнышко, а по щекам, на носу и лбу россыпи веснушек. Такого приметного чада, видать, во всей нашей округе не было.

Ох, уж и пестовала бабка Настеньку, своих деток так-то не нянчивала! Всегда гостинец из города ей, и новое платьице, и обувка. И купала ее в большом деревянном долбленном из липы корыте.

Настенька выросла, выучилась и сейчас живет и работает в Кандалакше учительницей.

Липовое бабкино корыто прохудилось и было выкинуто под гору, к оврагу.

Однажды несла старуха воду из ключа (еще сама на коромысле воду носит!), остановилась передохнуть и как-то ненароком взглянула под гору. И тут ослепил островок одуванчиков, рыжих, жарких, солнечных. Пригляделась – ух-ты! – одуванчики заселили ее липовое корыто.

– Настенькины одуванчики! – радостно охнула старуха. – Ай, ай, ай. Каждая веснушечка моей дорогой внучки превратилась в цветок.

# 23 Трогательная забота

От прошедшего ночью дождя сад стал свеж, пригляден – все враз помолодело.

Вышел я на крыльцо, глянул на сад, а там уже гости – две галки. Который уже день прилетают, чувствуют себя уверенно: разгуливают, что-то ищут.

Я заинтересовался птицами, понаблюдал за ними. И все сразу прояснилось: так это ж влюбленная парочка! Он и она. Самец все заигрывал, забегал вперед, выказывая и почтение, и внимание. Вот и сейчас под крайней молодой яблоней клювом откинул навозный комок, а под ним червяк. Червяк тут же был схвачен и почтительно (из клюва в клюв) передан подружке. Та полакомилась подачкой и потребовала новую: словно она не взрослая галка, а галчонок-несмышленыш, трепыхала крыльями, кружилась на месте, вскрикивала. Дружок игру принимал, бегал, ковырял клювом то траву, то клочок газеты. И, добыл-таки корочку хлеба. И, она тут же была предложена галке. Она клевала, а дружок сторожил, крутил головкой, взглядывал белесо-зеленоватым глазком, открыто любовался подружкой.

Ничего не скажешь – трогательная забота.

# 24 Летний дождь

В природе часто так бывает: или сплошная жара, или идут сплошные дожди. А бывает так. Сенокос. Все – и стар и млад – на лугах. Заготовить сено – это сохранить жизнь.

Сухое сено досушивается в валках. Оно пушистое, кудрявое. А запах – м-м! Этот запах принадлежит только сену. Когда сеном набьют тюфяк, ляжешь на него, а сеном! – Ах!

Сеном пахнет не только на лугах, но и от солнышка тоже. Солнышко – это клочок сенца, которое лошадь подбросила мордой вверх. Так по всей округе: и во дворе, и за двором, и на гумне, и на лугах – сплошные сенные запахи.

И, тут! Вдруг затараторило сено. Это капли забухали в него. Откуда? А ниоткуда! Из облака. Из такого маленького-маленького, которого и опасаться-то стыдно.

Забухали капли. Защелкало сено. И вот капли обернулись парными струями, от земли пар. Кто-то смеется, а кто-то сбросил косынку – и под дождь!

О, благодать! Вся природа радуется. Сбежало облачко с зенита, увлекло за собой дождь в иные края, а земля дышит под солнцем, пар так и стелется над ней!

Вот такой дождь и редок, и сладок.

# 25 Что такое характер

Один человек отличается от другого не только внешним, но и внутренним обликом, своим, присущим только ему, характером. Но попытаемся установить, что же такое характер вообще.

Если суммировать все определения, высказанные философами, публицистами и психологами, то можно сказать, что характер есть совокупность наиболее устойчивых, определяющих психических и нравственных способностей человека, которые проявляются в его действиях и поступках, в его отношении к самому себе и к другим людям, к делу, которым он занят, к долгу, который на него накладывает общество. Характер – это внешнее проявление внутренней, духовной, нравственной сущности человека, составляющей его особую, его неповторимую, индивидуальную черту.

И философы, и психологи едины в том, что характер не есть явление биологическое, он не передается по наследству. И он не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Характер – это явление социальное, возникает и развивается он в определенных житейских условиях. На нем сказываются и знания, и навыки, которыми владеет человек, и его жизненный опыт. Характер складывается и шлифуется под влиянием семьи и школы, того круга людей, той среды, в которой живет человек.

От каждого из нас во многом зависит то, какие черты характера мы хотим развить в себе, а от каких навсегда избавиться. Каждому из нас, конечно, хочется обладать характером сильным, цельным, мужественным и принципиальным, каждому хочется обладать той душевной широтой и благородством, которые наиболее импонируют окружающим нас людям.

Но совершенствование и развитие характера нуждается в каждодневной тренировке, и тогда можно даже самый плохой, давно уже сложившийся характер изменить к лучшему, даже самый слабый характер сделать сильным и стойким. Один древний мудрец сказал: «Мы делаемся тем, что делаем из себя сами».

# 26 Жил-был лес

За небольшой рощицей на окраине нашего города на зеленой поляне показалось что-то белое. Да это же ковыль – знаменитая степная трава! Но грустно шуршат от ветра его стебли. Наверное, от одиночества, ведь раньше здесь были целые поляны ковыля. Люди заметили эту красоту и решили перенести ее в свои квартиры.

Почти не стало ковыля. Разве это любовь к красоте?!

В дупле старого дерева сделала свое нехитрое гнездышко семья лазоревок. Трудились долго. Самка отложила пять белых яичек, высиживала в постоянном опасении, потому что под деревом часто проходили люди. И вот наконец первый птенец проклюнул скорлупу, за ним и остальные. У родителей прибавилось забот. Но однажды, когда птенцы уже подросли, должны были скоро вылететь из гнезда, синичка прилетела с кормом и не нашла своих детей: гнездо валялось под деревом рядом с растоптанными птенцами.

Над Доном так громко щебечут ласточки-береговушки, что даже не слышно шума барж, проходящих мимо. В один миг огромной стаей срываются они с обрыва и взлетают вверх. Ночью птицы забираются в свои норки и спят, чтобы утром опять трудиться. Но какой-то человек, проходя мимо, просто так взял да и отколол ломом кусок обрывистого берега вместе с норами ласточек. И орудие свое тут же бросил. Не пожалел.

Белка долгую холодную зиму переживала, перебивалась кое-как на своих осенних запасах. И вот наконец весна. Сменила белка свой густой зимний наряд на легкий летний. Отправилась на поиски корма. Вот тут-то и сбил ее меткий выстрел из ружья. Подобрал охотник беличий трупик, посмотрел на мех – не годится. И белка брошена. Погибла просто так…

Жил-был лес… А там птицы, звери, бабочки, жуки, цветы, травы. И в один день всего этого не стало. Беспощадный огонь, родившийся от одной только брошенной спички, уничтожил деревья вместе с птичьими гнездами, задушил дымом в норах зверей. И стоят на его месте обгоревшие стволы и кучи золы.

Интересно, что чувствует человек, по вине которого погиб лес?

# 27 Ложный дятел

Привыкли дачники, имеющие участки около леса, к тому, что его обитатели почти не пугаются присутствия человека. Да и люди без былого любопытства смотрят на животных. Читали много и насмотрелись, живя около леса.

Эка невидаль, что белки зачастую шишки сосновые обгрызают совсем рядом, сердито цокают на подошедшего, выражая недовольство: «Мешаешь, отойди!» По утрам или в будни, когда малолюдно, можно видеть, как фазаны, чинно разгуливая по огородам, с аппетитом поедают колорадского жука. У нас на доме, в трубе, прошлым летом довольно долго проводила свои дневки сова. Если уж крупные, осторожные птицы так смело приближаются к жилью человека, то мелкие тем более не боятся – всегда на виду. Вот и примелькались.

Однажды, переговариваясь с соседом, занятым огородными делами, услыхал невдалеке «барабанную дробь». Подумалось: «Дятел. Не в диковинку!» Но машинально повернувшись на звук, не поверил своим глазам. До такой степени не поверил, что даже соседа от его трудов отвлек, показал ему птицу, стучавшую «морзянку». Усевшись на ствол, она сноровисто долбила клювом кору, что-то выискивая. Очистив дерево, перелетела на соседнее, где так же привычно принялась за дятлово дело.

Мы наблюдали за ней до тех пор, пока птица не улетела. Обмениваясь впечатлениями об увиденном, говорили: «Повезло, редко, наверное, такое кому видеть доводилось. Чудно. Бывает же такое!»

Все дело в том, что это был не дятел. Работу лесного древесного санитара выполняла… сорока! Действительно, повезло. Если бы не повернулся на стук, возможно, никогда и не узнал, что сороки бывают «дятлами».

# 28 Ранний снег

С вечера на Медведице пошел снег. Резко похолодало. А ночью разгулялась настоящая февральская метель.

Произошло это совершенно неожиданно. Мгновенно наступила зима.

Под окнами притихшей рыболовной базы запрыгали, застрекотали слетевшиеся сороки, на подоконниках засуетились любопытные синицы…

Так захотелось пройтись по заснеженному лесу!

Вот и надели мы с Володей сапоги и отправились по тропинкам, вдоль которых еще вчера зеленела трава, цвели последние ромашки, а в черничнике еще можно было набрать банку ягод, хотя они и потеряли уже вкус – стали мягкими, несладкими, водянистыми.

Снег укрыл землю и траву, лишь кое-где видны были многочисленные семьи рядовок. Он налип на листья деревьев, и теперь при нем еще ярче запылали багряные кисти рябиновых ягод.

И вдруг мы увидели еще большее чудо: на моховой, заметенной снегом поляне стояло несколько красавцев боровиков, надевших белые шапочки.

Налюбовавшись зимним лесом – а он действительно стал совсем зимним, – мы с Володей решили все-таки отправиться на рыбалку.

Дул сильный северный ветер с редким снегом. Но в такую погоду в это время щука должна была брать. И, мы поехали ставить переметы.

Собственно, все там было уже готово – оставалось только наловить живца и посадить его на крючки.

Мы долго пробовали добыть его и на удочки и подъемником. Но он, как на грех, куда-то ушел…

Наконец заехали в кугу и в камыш. Тогда-то и оказалось, что весь малек перекочевал сюда.

И тут мы увидели новое чудо: среди трепещущего камыша непрерывно сновали ласточки, которые в такую погоду должны были бы улететь…

А в проплешинах между камышом порхали трясогузки. Здесь, у незамерзшей воды, было теплее, и сюда сбились стаи насекомых.

– Это хорошая примета! – сказал мне Володя. – Значит, снег и холода ненадолго, будет потепление…

Поставив переметы, мы причалили к берегу и развели костер.

В здешних лесах много валежника и сухостоя. И костер у нас получился на славу – высокий и жаркий. Мы грелись около него, а потом время от времени выезжали посмотреть переметы.

Щука действительно брала неплохо – с каждого просмотра мы привозили две-три…

А потом к нашему костру перебрались ласточки – все слетелись. Они крутились вокруг него, согреваясь и одновременно подхватывая перекочевавших к теплу насекомых…

А потепление наступило на следующее утро. За ночь от наметенного снега не осталось и следа…

# 29

Странные звуки доносились с улицы, будили меня, подростка, приехавшего на лето к бабушке в деревню. Мерные, хрусткие были звуки, словно дергали что-то размеренно и сжевывали смачно. Помню, поначалу и с непривычки я даже струхнул немного. Что за зверь такой подбирается к дому? Но оказалось, милее и добрее этого зверя не сыскать, наверное, в целом свете. Лошадь!

Лошадь мирно паслась на лугу перед бабушкиным домом, набирала силенок на долгую дневную работу. А хозяином лошади был наш сосед Кузьма Иванович, или попросту дядя Кузя. Он развозил на ней хлеб по дальним деревенькам, где не было своей пекарни.

Был у лошади, как водится, и жеребенок – такой же светло-серый, почти белый, в мать. Он тоже хрумкал вкусную травку, резво бегал по лугу, игриво помахивал коротким пушистым хвостиком. А когда мама-лошадь, запряженная в телегу, отправлялась в свои привычные рейсы, жеребенок увязывался следом и бежал не отставая.

Так и слилось все это воедино в моей детской памяти, отложилось навеки: лошадь, скрип телеги, запах свежеиспеченного хлеба, жеребенок… А все вместе дало то чистое и теплое ощущение родины, без которого и жить-то человеку нельзя.

Не знаю, как у вас, а у меня при виде элегантных, стройных, с гордо посаженной головой лошадей сердце радуется. Такое достоинство разлито во всем их облике и вместе с тем такое добронравие и спокойствие в ясных и умных глазах, что не только обидеть – подумать об этих животных что-либо дурное, кажется, невозможно.

А какой осмысленный у лошадей взгляд! В нем самый широкий спектр настроений и, да простят меня строгие биологи, чувств: от добродушной лукавинки до мудрой грусти. Удивление, озорство, важность, обида, радость, задумчивость, гнев, испуг, нежность, интерес к человеку, к другой лошади, к миру – все можно прочитать в больших, черных и как бы чуть влажных лошадиных глазах…

Лошадь – животное удивительное. Может быть, самое ценное приобретение, которое сделал человек, приручив и одомашнив в III тысячелетии до нашей эры предков современных лошадей – тарпанов. С тех пор вот уже пять тысяч лет лошади верой и правдой служат людям. Они освоили огромное количество самых

разнообразных профессий. Перевозка почты и пассажиров, военные походы и рыцарские турниры, пахота и конноспортивные состязания…

Особую роль играли лошади на Руси. Хозяйство крестьянина – а Россия до революции была в основном крестьянской страной – не могло обходиться без этих непритязательных и трудолюбивых животных. На лошадях пахали и боронили наделы земли, лошадь запрягали, чтобы ехать в лес по дрова, в горячую пору сенокоса лошади исправно тянули телеги, высоко груженные душистым сеном. Для таких работ нужны были сильные и выносливые лошади.

Не перечислить в короткой заметке всех рекордов, установленных лошадьми, не привести и малой доли тех примеров сообразительности, смекалки, доброты, верности хозяину, которыми отличились лошади на протяжении своей многовековой жизни бок о бок с людьми.

Пусть пасутся они вольно на густотравных лугах. Пусть радуют нас своей резвостью, силой, изяществом, красотой.

# 30

Зима. Из канализационного колодца валит дым. Вокруг оттаявшая земля. Подхожу ближе: земля шевелится. Да это брошенные людьми собаки, и в глазах их – горе и страх. Я знаю людей, которые выставляли на улицу свою собаку за то, что она не могла больше приносить потомства, а значит – доход. Что же получается: деньги вместо души? Почему дефицит милосердия сегодня так велик?

Что станет с нашим разумом и нашим сердцем? Не покинет ли нас доброта навсегда? Ведь уже сегодня ее недостает нам всем! Горе у товарища – мы не спешим ему на помощь. С собаки заживо сдирают шкуру – мы молчим, словно ничего не происходит. Ребенок с интересом смотрит, как голубь с отрезанными лапками мучается, не может приземлиться, – мы снова проходим мимо.

Преступно мало мы говорим об отношении человека к четвероногому другу, словно нет в нашей жизни жестокости! Человек не может состояться без доброго отношения к меньшим своим братьям.

Космос, пограничная и милицейская службы, медицина, геология – сферы, в которых жизнь собаки – подвиг во имя жизни человека. Где же наша человеческая благодарность, милосердие?

# 31

Когда приходит весна? У астрономов – свое время, дачники назовут свои сроки, земледелец – свои. На Аляске забавно определяют приход весны. На льду посредине реки укреплен кол, связанный тонкой веревкой с хронометром. Чуть тронулся лед – часы сработали. Тысячи людей беспрерывно день и ночь ожидают этого момента. Тут же репортер и радио с микрофонами. Вся Аляска слушает репортера. Пятьдесят лет проводится весенняя лотерея. Люди покупают билеты и пишут на них число, час и даже секунды. Выигрывает тот, кто точнее всех предскажет приход весны.

Замечено: весна идет по Земле со скоростью пятьдесят километров в сутки. С такой скоростью движется на север живая волна спутников потепления. Поэтому есть еще один способ обнаружить приход весны. В Антарктиде – это приход с моря на землю пингвинов адели, в наших краях «весну приносят грачи».

Земля вокруг Солнца ходит по строгому расписанию, и все на Земле приспособилось к этому. Все имеет строгие правила поведения. За многие тысячи лет люди пригляделись к этим закономерностям. Замечено: медведи, барсуки и еноты вылезают на свет после спячки 7 апреля. Известно, в какое время надо ждать первых осенних морозов, когда зацветает липа и колосится рожь, когда бывают свадьбы у щуки и в какие летние сроки птицы кончают петь, в какое время реки покрываются льдом. Все это знает фенолог. Есть теперь такая наука, есть и ученые, но и любой человек может себя называть фенологом, если возьмется наблюдать за сезонными переменами на Земле.

Мальчишкой я уже знал: грачи прилетели – весна; прилетела кукушка – конец охоты, дичь села на гнезда; ласточки прилетели – можно купаться. Эту азбуку в готовом виде я получил из копилки сельского опыта. А ведь кто-то первым заметил все это. «Лини мечут икру, когда зацветает калина. Перед дождем иволга кричит дикой кошкой. Цветок лилии опустился под воду – близится летний вечер». Названия месяцев у славян крепко связаны с проявлениями природы: май – травень, июль – липец (время цветения липы), декабрь – студень. В этой цепи увязок и наблюдений трудно увидеть начало. Не будет у нее и конца. Эту цепь начинали охотники и земледельцы. Лучше всего они и теперь ее продолжают. Природа неисчерпаема для прилежного наблюдателя. Каждый любознательный человек может сделать свое открытие.

# 32

По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.

Город лег на землю тяжелыми грудами зданий, прижался к ней, и стонет, и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он только что разрушен пожаром, ибо под ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера раскалены докрасна.

Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город – место неутомимого боя за счастье – истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города; неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее – точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет, поздний вечер печален и тих, только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молчании засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идет ночь, закрывая черной мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы – все вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи, – точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею.

Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются навстречу ему голубые, желтые и красные огни.

*(По М. Горькому)*

# 33 Сильный колос

Лето выдалось дождливое. Травы и хлеба дурели от перепоя, перли в рост и не вызревали. Потом травы остановились, густым разноцветьем придавило их, и они унялись, перестали расти.

И сделалось видно высокую рожь со сплющенным колосом. Она переливалась под ветром, шумела молодо и беззаботно. Но однажды налетела буря с крупным дождем и градом. Еще жидкую и нестойкую рожь на взгорьях прижало к земле. «Пропало жито, пропало!» – сокрушались мужики. Горестно качали они головами и вздыхали, как вздыхают люди, утратив самое для себя дорогое. Из древности дошла до нас и еще, слава Богу, жива в крестьянах жалость к погибающему хлебу, основе основ человеческой жизни.

После бури, как бы искупая свой грех, природа одарила землю солнечными днями. Рожь по ложкам и низинам стала быстро белеть, накапливать зерно и знойно куриться. А та, на взгорках, все лежала вниз лицом и ровно бы молилась земле, просила отпустить ее. И были провалы в густой и высокой ржи, словно раны. День ото дня все горестней темнели и запекались они в безмолвной боли.

Пригревало и пригревало солнце. Сохла земля в поле, и под сваленной рожью прела она, прогревала стебли, и они по одному твердели, выпрямлялись и раскачивали гибко согнувшиеся серые колосья.

Ветром раскачивало рожь, сушило, гнало ее волнами, и вот уже усы пустили колосья, накололи на них солнце.

Раны на поле закрылись, ровное оно сделалось, безоглядное.

Катились беловатые, будто вспененные на хребтах, волны, и среди них озерной, стоялой водою все еще несмело шевелилась рожь, поднявшаяся с земли. Но через неделю-две вовсе слижет зеленые проплешины и сольется поле во едином расчесе, в единый колос встанут хлеба, начнут шуметь полновластно, широко, зазвенят отвердевшим зерном и, радуясь хлебу, жизнестойкости его, хвалить будут его крестьяне, как верного друга: «Сильный колос! Взнял себя с земли!»

*(По В. Астафьеву)*

# 34 Первые приметы

На улице еще по-зимнему холодно, а нет-нет да и порадует весна своими первыми приметами.

Вот и четверг удался солнечным, и заговорила, застучала, запела капель. У угла дома на Базарной площади, рядом с автобусной остановкой, целая лужица накапана. И вот радуются в ней воробьи, вот радуются: и пьют, и чистятся, и даже ухитряются помыться. А разве в такой толчее как следует помоешься: лужица маленькая, а любителей помыться не один десяток собралось. Вот и приседают они. А другие наберут воды в клювик и… раз ее под перо, раз – под крыло. Хорошо!

Радуются воробушки теплу и солнцу. А люди… Люди спешат, бегут мимо, им не до этого. Хоть бы остановились на минутку, отвлеклись, полюбовались, улыбнулись простенькой птичьей радости. Нет, некогда. А одна женщина с тяжелой сумкой в руках чуть не наступила на них. Воробьи дружно вспорхнули у ее ног, простучали мокрыми крыльями, испугав ту женщину.

О весне напомнил и таремский мальчонка лет десяти. Он катался с гор вместе с ребятами и уже изрядно нападался. А тут еще и на моих глазах так упал, что с головой зарылся.

– Весь в снегу! – удивился я.

– Вот и не весь! – он поднял голову из сугроба и улыбнулся.

И точно не весь: глаза не в снегу, а еще веснушки на лице, а их так много, этих крохотных солнышек – все лицо в них. Видно, ни мороз их не берет, ни снег к ним не пристает. Он встал и начал отряхиваться. «Рано, брат, тебя весна так разукрасила», – весело подумал я. Люблю вот таких русских мальчишек: деревенских, конопатых, они обычно добрые, открытые, доверчивые.

А на днях увидел лист земляники. На склоне оврага лыжи спустили снег, и на обнаженной земле рядом с блеклым кустиком дикого клевера выглянул лист земляники. Зеленый, свежий, живой. И на душе стало радостно. Знать, и мороз нипочем: не обжег холодом, не заморозил. На белом снегу он – диковинка необыкновенная. Осторожно сорвал тот листик с резными краями, положил в блокнот и привез домой. Снег обтаял, и он, умытый, свежий, приятно напомнил, что впереди весна и тепло.

# 35 Деревья прихорашиваются

Деревья начали чиститься еще в декабре, когда роняли на ледяном ветру сухие сучки и ветки. Их было так много, что они и сейчас то и дело встречаются на снегу, только успевай откидывать с лыжни.

А в феврале полетели с берез первые берестяные полоски, легкие, невесомые. Потом побелятся бетулином и станут такими чистыми – не притронься. И осинки принарядились. Они тоже освободились от сухих сучьев и зеленятся вовсю. Вы, наверное, заметили, как блестят их стволы даже в голубом сумраке. А уж на солнце! И ольхи изменились: стали вон какими шоколадными, и все в сережках. Звенят ими, шепчутся, поют. Не заметишь, как полетит в талую воду ее золотистая пыльца. А в веточках сосен уже начинают светиться серебром первые крупинки февральской смолы.

Прихорашиваются все деревья в феврале, а пуще всех березка-модница. То она зарей умоется и в иней разрядится, то снегом обсыплется, то вдруг вся обольется солнцем. А сейчас еще и закудрявилась сережками: вон какой стала густой и кудрявой ее вершина, и уже вишневеют ветки – издалека заметишь.

А это что качается, такое белое между ветками, будто снежный гамачок? Это же гнездо иволги, все в снегу. Она строит его не в развилке, а между ветками натягивает, чтобы даже кошка не могла забраться. Осторожная птица – ничего не скажешь. Но иволги прилетят сюда в мае, когда лес оденется листвой. А сейчас летят в березовые рощи полакомиться почками, крупнеющими день ото дня, синицы, чечетки и даже тетерева. И приятно услышать за барабанной дробью дятла-телеграфиста звонкую песню синиц и еще робкую запевку овсянки.

# 36

У каждой птицы свой голос. А самый, пожалуй, печальный – у чибиса. Это тревожная просьба не подходить, отойти от сырого луга. Ведь тут все у него: дом, семья, счастье. Вот и вьется над головой, старается заглянуть нам в глаза и умоляет: «Милые!.. Милые!..»

У меня с чибисами была однажды нерадостная встреча. Уже сошли снега, недели две стояло тепло, прилетели жаворонки, скворцы. И вдруг ударил мороз, заснежила, закрутила снова метель.

Полем, мимо прошлогоднего ржаного омета, я направился в лес. Вдруг от омета, с подветренной стороны, один за другим поднялись в снежное небо чибисы, большая чибисовая стая. Я быстрехонько отбежал от омета, чтобы они смогли снова укрыться. Да куда там, хотя и сделали над ним круг. А сколько тревоги было в их крике! Я помню его и сейчас: «Куда нам?.. Куда нам?..» Холодный ветер относил их в сторону, острый снег бил в крыло. А они летели и кому-то все жаловались: «Куда нам?..» А куда летели, если кругом снег и не было конца метели.

Наступило лето. Тихо было у озера: чибисы не поселились. С тех пор прошло много лет, но мне и сейчас слышится в каждом чибисином крике плач по тем, кто покинул тогда ржаной омет.

# 37

Всего, конечно, за недолгий свой отпуск Сергей не мог ни увидеть, ни узнать, – слишком много странного, никак не вязавшегося с ожидаемым, встретило его не только в селе, но еще на ближних подступах к нему, когда он вышел из вагона на станции и, по обыкновению всех завидовцев, не направился прямо домой, а решил заглянуть к тетеньке Анне – на этот раз для того, чтобы получить первую и – он знал – самую обширную и достоверную информацию об односельчанах. Да и время было позднее; вечерние сумерки быстро сгущались, попутного транспорта теперь уже не будет; до Завидова семнадцать верст, не ближний свет, к тому же на руках офицера были два чемодана, отнюдь не до конца опорожненных у брата и сестры. Тетенькина же информация сгодится для того, чтобы, придя в село, не совершить какого-нибудь необдуманного поступка и не обронить какого-либо слова, способного не поврачевать, а, напротив, расшевелить, растеребить чью-то сильно пораненную душу, – а их на селе окажется немалое число таких-то душ.

Как и в довоенные годы, ни калитка, впускающая во двор, ни двери, ведущие в сумеречь сеней и в светлую горенку с земляным, всегда свежепобеленным полом, не были заперты, потому что хижина тетеньки более чем прежде, в худшую военную и тяжкую послевоенную пору, была для людей домом открытых дверей. Сергей подошел к нему в момент, когда хозяйка, ни капельки, с точки зрения офицера, не изменившаяся за эти шесть с половиной лет, вышла на низенькое, о двух ступенях, подгнившее крылечко, жалобно зароптавшее под ее ногами. Вслед за тетенькой из сеней выкатилась рыжая лохматая собачонка, взъерошила загривок, но, тут же вспомнив, что так на подворье гостей не встречают, уложила вздыбившуюся шерсть на место и приветливо замолола хвостом.

*(По М. Алексееву)*

# 38 Шутка

Что и говорить, дятел – преинтересная птица. И, опереньем видная такая, нарядная, и лесу очень полезная. Сколько деревьев вылечит дятел, сколько спасет от лесных вредителей. Слышите? Глухой и дробный стук: тук-тук-тук. Это он за ними охотится, их достает.

Еще он любит по весне пить сладкий кленовый сок. Наделает отверстий вокруг ствола, словно колечком опояшет, и слизывает языком – вкусно-то как!

А это разве не интересно, что он не любит старых квартир и каждую весну сооружает себе новое жилье. А старое отдает другим птицам: живите, не жалко.

Еще дятлы очень любопытны. Вот какой случай произошел однажды весенним днем.

Кто-то повесил на сучок стеклянную банку. Я снял ее и постучал по осине – гудит, еще как отдается по студеному стволу. А неподалеку стучит дятел без устали, видно, никак не наработается. Вот и пришла мысль разыграть его, немного отвлечь от дела. Выждал, когда тот закончил очередную дробь, начал я отбивать банкой свою: тук-тук-тук. И что же: вскоре мелькнул своей пестротой и спрятался. Я тоже спрятался от него и сделал перерыв, пусть дятел немного поищет. Снова перелетела любопытная птица. Я опять банкой: тук-тук-тук. Уж он подлетел совсем близко, посмотреть, как его сосед работает, а может быть, его внимание привлекло нарушение границы владений. Мне захотелось, чтобы он подлетел еще ближе. Но не такой уж дятел простофиля, чтобы его можно было провести. Стоило мне еще стукнуть банкой дважды, как он потерял всякий интерес и улетел к своему дереву, чтобы продолжить работу.

# 39 Сластена

Пригрело солнышко склоны. Почуяв весну, проснулся еж и выбрался из ямки под дубком, где проспал всю зиму. Мы еще с осени заметили его хатку. Он натаскал листьев полную ямку, сам обкатался ими и, свернувшись клубочком, скатился вниз и заснул. Осень еще долго покрывала его листьями, а зима мастерила снежную крышу.

А на днях заглянули в эту ямку, она уже пуста: ежик убрел в поле к прошлогоднему ржаному омету за мышами: за зиму-то отощал. Ушел и не вернулся, только на твердом насте оставил легкий след.

Что не вернулся, мы узнали по конфетке, которую положили у ежовой квартирки. Она так и лежит нетронутой. А он бы непременно съел, потому что ежи – большие сластены. Об этом мы узнали летом. Идем с внуком по лесной тропе и видим: впереди нас, позабыв всякую опасность, лениво вышагивает еж. Ноги тонкие, темные. Он шагает не спеша, только жидкое тело слегка вихляется из стороны в сторону. Мы идем за ним тихо, не дыша. Расстояние между нами и им сократилось до двух шагов. «Вот и встретились!» – говорю я громко. Он не обернулся, только свернулся в клубок. Дотрагиваюсь ногой. Ёж сердито фыркнул и подпрыгнул, пугая нас. А потом замолк. Мы ушли от него, оглянулись: на тропе по-прежнему продолжал лежать рыжеватый колючий комок. А потом вернулись и положили рядом с ним конфетку: съест или не съест?

Приходим на другой день: нашей конфетки нет, зато рядом у тропы три игольчатых комочка: два маленьких и один побольше. Ежиха привела сюда всю семью, видать, любят они полакомиться.

# 40 Весенние леденцы

У озера, на склоне, много молодых липок. А есть липки, должны быть и клены. Они любят такое соседство. Кто кому больше нравится, кто кого лето-летенское ласкает, не скажу. Но стройная красавица липа и статный молодец клен стоят друг друга.

Клен распускается раньше неженки липы, и сладковатый сок-кленовик идет раньше липовицы, когда еще под ногами снег.

Недалеко от тропы спилили прошлым летом один кленок, оставив высокий пенечек. Иду вчера и вижу чудное зрелище: свесились с него по сторонам маленькие сосульки и плачут на солнце. Удивился: откуда сосульки, если на пеньке и снега нет? Да и цвет их немного золотистый. Отломил одну, поглядел и прежде чем бросить, лизнул языком. А она-то сладковатая, ни дать ни взять – леденец. Отломил два леденца, завернул в лист бумаги и в карман: показать дома такую невидаль. Да где там – дорога дальняя, растаял мой подарок, и осталась от него только сладковатая водичка в кармане.

# 41

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининских времен. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркою, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами.

Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных копей – и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами…

«Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы… но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий… а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи. Они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

*(По И. Тургеневу)*

# 42 Побежали ручьи

До чего же щедро мартовское солнце, как оно искусно вяжет на припеке свое серебристое кружево: вытоньшило снег, обсосало, где надо, а где и прожгло насквозь. Оттого все северные склоны амачкинских оврагов потеряли снеговую белизну. А пригорки совсем оголились: видно, усердно потрудилось солнце, вволю поиграло с ними в пятнашки. Оно и ручьи разбудило. И побежали они и все под горку, под горку. Бегут быстро, не догонишь.

Я отправился в лес еще по насту. А поднялось солнце – наста будто и не было. С тонким звоном стали отходить, отрываясь от краев, льдинки на лужицах. А их так много: что ни ямка, то лужица. И все голубые, в каждой – по большому небу. Часам к одиннадцати проснулись ручьи, сначала робко зашептались, заговорили, потом, почувствовав силу, забурлили, застучали, зазвенели, забулькали, запели на разные голоса. Только слушай.

В большом амачкинском долу снег по краям еще держится, и на крутых подвьюжинах висят сосульки, понизу же тронулась вода. Она бежит не спеша: уклон-то пологий. А вон и совсем остановилась: пригрудила снег и встала, спрятавшись в нем. Я разметаю ногой тяжелый снег, даю дорогу воде. И, она опять тронулась, заспешила к протоке, заструилась на солнце чистая снежница. И, как ей не быть чистой, если вся из голубого снега и течет по тонкому ледку.

Раньше у нас в селе всегда ждали водополье, и в чистой, словно ключевой, снежнице старались перемыть все: половички, войлоки, одеяла.

Ручьи бегут. И чем быстрее их бег, тем задорнее песня. Кто не любит эти первые песни весны!

# 43

Боевая биография Ушакова действительно незаурядна.

Федор Федорович Ушаков родился в 1745 году. На родине, в Темниковском уезде Тамбовской губернии, от родителей ему досталось наследство: 19 ревизских душ. Помещик он был захудалый, но Россию он любил очень и своими победами прославил ее на морях. Это был самостоятельный адмирал, создатель русской морской тактики. В войнах с турками на Черном море и с французами на Средиземном море одержал ряд блестящих побед.

Крепость на острове Корфу в Средиземном море всегда считалась неприступной. И только перед русскими моряками 20 февраля 1799 года она не могла устоять. Это была одна из самых громких побед русского флота, окончательно утвердившая во всем мире имя Ушакова как великого флотоводца. В тот момент другой великий, но сухопутный, русский полководец, Суворов, действовал в Северной Италии против французов. Узнав о победе Ушакова, он сказал: «Жалею, что при взятии Корфу не был хотя бы мичманом…»

Ушаков был единственным соперником по славе с знаменитым адмиралом Нельсоном… В 1799 году два великих флотоводца встретились в Палермо. Нельсон твердо рассчитывал, что Ушаков расшаркается перед ним и станет покорным орудием в руках Англии, но самоуверенный англичанин обманулся в своих ожиданиях. Случилось другое: от природы умный, самостоятельный, русский адмирал не уронил достоинства России и ревниво оберегал интересы своей родины. Разочарованный Нельсон в письме отзывался об Ушакове, что он держит себя очень высоко и что под его вежливой наружностью скрывается медведь.

В старой России Ушаков не пользовался такой широкой известностью, как Нельсон в Англии. В Англии каждый школьник знает этого адмирала, а у нас, кроме морских офицеров, мало кто знает о народном герое – Ушакове. Одна или две книги – вот и все, что было написано о нем.

Цари не очень ценили Ушакова: им не нравилась его самостоятельность, поэтому Ушаков не подошел ко двору. Так и вынужден был он, шестидесяти двух лет, полный сил, уйти в отставку и уехать к себе в тамбовскую деревню, где и умер в 1817 году.

*(По А. Новикову-Прибою)*

# 44 Ива

Наверху оврага, у самого склона, прижилась красавица ива. Оттого ли, что ей больше солнца перепадает на просторе, она первой распускается по весне. Зато и от людей ей достается: ее ломают и с боков, и с вершины, и уходит она в зиму с обломанными ветками, вся в болячках и ранах. А к весне снова оживает и преображается: обрастает новыми ветками, выкидывает все больше и больше почек.

Сейчас холодно и метут метели, а пушистые почки уже освобождаются из-под темных, словно прокаленных чехольчиков и радуют глаз. Их и вечером заметишь: выглядывают из темноты серебристыми светлячками.

А вчера был дождик, изрябил снег под ивой, навешал дождинок на ветках в ряд с почками. Сегодня замерзли те дождинки, и загорелась на солнце ива махонькими многоцветными огоньками.

А скоро она распушится, раззолотится, зацветет. И к ней первой прилетят пчелы, шмели, лимонницы. И загудит вся, вторя бойким весенним ручьям, заневестится, зарадуется. И обсушится спрятанное у комля птичье гнездо.

И еще открою один секрет: внизу, под ивой, по склону, – самое ягодное место.

Я частенько заезжаю на лыжах к той иве, чтобы порадоваться вместе с ней приходу весны.

# 45

Верблюд – верный помощник человека. Это основное мясное и молочное животное пустыни. На нем пахали землю, использовали при молотьбе, он вытаскивал громадные бадьи с водой из глубоких колодцев. Тысячелетия верблюд был незаменимым транспортным средством. Лишь совсем недавно его вытеснили автомобили, самолеты и другая техника.

Грузоподъемность верблюда завидная: он может нести примерно половину собственного веса. Рекордисты – столько же, сколько весят сами, – более 700 килограммов. Верблюд не только могуч, но и легок на ногу. Он достигает скорости более 20 километров в час.

Верблюд – иноходец, его шаг отрегулирован так, что он одновременно выносит вперед конечности, расположенные по одну сторону тела. Такая ходьба и позволяет ему поддерживать постоянную скорость на больших расстояниях – до 80–90 километров в день.

Это животное прекрасно приспособлено к жизни в пустынях и степях. Густая шерсть надежно защищает от ночных холодов и полуденного зноя. Верблюд нетребователен к пище, порой на пастбищах трудно найти что-либо, кроме колючек и солянок, но они-то и составляют основу его питания.

Был произведен такой подсчет: на одном из участков пустыни было выявлено 290 видов обитающих там растений. Из них верблюд употребляет 161 вид (сочные, нежные растения съедает полностью, у грубых – листья и верхушки), крупный рогатый скот – 68.

По нескольку дней верблюд может не пить, а это в условиях безводья немаловажно. Спокойно пасется или шагает с грузом по раскаленному, пышущему жаром песчаному бархану, практически не утопая в сыпучем песке. Его раздвоенные копыта очень широки, ступни же защищены эластичной мозолистой подушкой. По этому признаку верблюдов и лам – жителей высокогорий Южной Америки – зоологи объединили в один отряд – мозоленогие.

*(По И. Константинову)*

# 46

Я думал, что я должен непременно написать свою повесть, или, лучше сказать, – свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, чтобы я находил свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсем нет: истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов – и я, может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель, но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах, – и это, мне кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание.

Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к тому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет, как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать, а это, надеюсь, встречается не часто. Я начну свою повесть с детства, с самых первых своих воспоминаний: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот человек в миниатюре, которая все увеличивается.

*(По Н. Лескову)*

# 47

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноволосая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

*(По А. Куприну)*

# 48

Против города, на северо-западной стороне Нагасакской бухты, среди скалистых взгорьев заросла зеленью деревня, хорошо известная русскому флоту. На одном из холмов возвышалось двухэтажное здание под названием «Гостиница Нева».

От каменной пристани, ступени которой спускались прямо в воду, начинался город европейскими гостиницами и ресторанами. Здесь, на широких улицах, наряду с японцами, наряженными в национальные костюмы-кимоно, встречались англичане, немцы, французы, русские. Слышался разноязычный говор. А дальше, за европейским кварталом, плотно прижались друг к другу японские домики, деревянные, легкие, не больше как в два этажа, причем верхний этаж приспособлен для жилья, нижний – для торговли. Передние стены магазинов на день раздвинуты, и можно, не читая вывесок, видеть, чем в них торгуют: черепаховыми изделиями, узорчатыми веерами, изящным японским фарфором. Создавалось впечатление, как будто гуляешь не по узким улицам, а в павильоне, и рассматриваешь выставку японской продукции.

На звуки музыки шли иностранные моряки, прибывшие сюда из-за далеких морей и океанов, загорелые, обвеянные ветрами всех географических широт. Особенно разгулялись на радости некоторые русские, как офицеры, так и нижние чины, только что переставшие быть пленниками. Их можно было узнать издали: они пели песни, радовались, словно наступила для них масленая неделя, разъезжали на рикшах.

Меня удивляли японцы: я не встречал опечаленных и угрюмых лиц ни у мужчин, ни у женщин. Казалось, что они всегда жизнерадостны, словно всем им живется отлично и все они довольны и государством, и самими собою, и своим социальным положением. На самом же деле японское население жило в большой бедности, но искусно скрывало это. Точно так же ошибочно было бы предположить, судя по их чрезмерной вежливости, выработанной веками, что они представляют собою самый мирный народ на свете.

*(По А. Новикову-Прибою)*

# 49

В последнюю летнюю ночь, после жаркого бездождья, приглушенно рокоча, играя багровыми сполохами, без ветра проплыла из-за Дона туча-великан и разразилась грозовым ливнем. Утро нового дня проснулось по-летнему теплым, но по-осеннему туманным. На каждой травинке, на листьях деревьев, на сосновых иглах и кончиках шишек повисли тяжелые чистые капли. И, не спускаясь к лужам, пили воду тех капель лесные птицы, тихонько перекликаясь друг с другом.

Тих был лес, и тиха вода в маленькой речке: ни рыбешка не плеснет, ни утка не крякнет. Серой беззвучной тенью опустилась у берега цапля, защебетали в никлых тростниках касатки, но ничего не изменилось от этого на сонной реке. Однако тяжелая сонливость, висевшая над берегами, мгновенно пропала, как только просвистел зимородок, усевшись на низеньком лодочном столбике. В сероватом полумраке рассвета из всего его пестрого оперения выделялись только белые пятнышки позади глаз, а ярко-оранжевая грудка, синие крылья и голубая спинка выглядели тускло-серыми, словно отсырели от густого тумана. Посидев на столбике, зимородок перелетел на другой берег, потом вернулся и замер на ольховой веточке, склоненной к речной струе. Что-то не ладилось в такое утро с охотой, и птица то и дело приседала в нетерпении, вздергивая хвостишко, перелетала с места на место, но, не высмотрев верной добычи, будто задремала на том же столбике.

А солнце уже поднялось за туманом, разогнало белесую мглу, и его первый луч сразу преобразил мир, вернув ему все краски, да еще добавив к ним сверкание искр в дождевых каплях.

*(По Л. Семаго)*

# 50

Удивительные постройки. Я, когда их увидел, испытал странное чувство: казалось, родившись, я уже знал, что они есть…

В солнечный, хороший день пролетаем над Регистаном. Голубые постройки похожи на корабли, приплывшие неизвестно откуда и ставшие тут среди домиков и суетливых лодок-автомобилей. Матросов давным-давно уже нет, а корабли целы. Странные палубы, трубы, голубая обшивка бортов… Древняя голубая флотилия стоит на площади посреди Самарканда.

Каждый день с утра на этой площади собираются приезжие люди. Не удивляйтесь, если услышите тут разговор по-французски, если гость назовется жителем Лондона, Праги, Ростова, Семипалатинска, Гомеля. Везде живут любопытные люди, для которых минута перед этими приплывшими из веков «кораблями» – одна из радостей жизни.

Регистан (так по-узбекски называется площадь) – первое место, куда направляется приехавший в Самарканд. Отсюда начинают знакомство с удивительным городом.

За площадью в садике – чайхана. Два деревянных столба, изукрашенных резчиком и червоточиной, подпирают крышу древней харчевни. Прямо на улице жарятся шашлыки, в огромном котле закипает шурпа. Синий пахучий дым стелется между деревьями у чайханы. А далее, за коробками новых домов, – древний жилой Самарканд. Дома с плоскими крышами прилипли друг к другу. Кажется, ступи на одну крышу – и пошел, весь город по крышам перебежишь. Улицы извилисты, с тупиками – идешь неизвестно куда.

Минутах в тридцати ходьбы от площади видишь вокруг над деревьями и домами огромный голубой купол. Сразу вспоминаешь когда-то прочитанное: «Если исчезнет небо – купол Гур-и-Эмира заменит его».

Под куполом лежат кости знаменитого Тамерлана, почитавшего Самарканд единственной столицей Земли.

# 51

На следующий день теплым дыханием стала дышать весна, и оттаяли все цветки на земле, и согрелись начавшие набухать почки, повеселела присмиревшая птичура. Вышел день мягкий, туманный и полусонный. Словно весна, положив все силы для последнего натиска, превозмогла холод, свалила и теперь сама лежала в полудремоте, отдыхала. В эти теплые дни в голых серых лугах желтыми пухляками зацвела ива. В жаркий майский день она стоит, окруженная тонким ароматом и гудением пчел. Если сфотографировать ее цветки против солнечного света, то длинные ресницы-тычинки с желтыми головками получаются в виде прозрачного сияния, окружающего темное сердечко.

А какие в эту пору вечера в неодетом лесу! Приходишь перед зарей на вырубку, садишься на пенек под березой, и первое, что поражает, – тишина. Только вечерней зарей в весеннем лесу начинаешь понимать, что такое настоящая тишина, ибо то, что мы обычно принимаем за нее, есть постоянный и привычный шум. Он как фон радиоволн и помех в наушниках, на который не обращаешь внимания, улавливая нужный писк сигнала.

Тишина весеннего неодетого леса живет, она наполнена голосами птичек, шорохом подсыхающей листвы и капели, неведомо откуда возникающих на голых березовых ветвях.

*(По В. Петрову)*

# 52

Выехали мы рано, в яркое утро, я успел сбегать на соседний базар, принести к чаю в глиняной махотке удивительных сливок, густых, как сметана, – такие же меня ждали и в деревне.

Ехать пришлось очень долго, мамины киргизские лошадки бежали неторопливой рысцой, позванивали бубенчиками. Работник ее, рыжий Моисей, жалел лошадей и не гнал. Но в разговорах время бежало незаметно. Дорога шла по бесконечным тамбовским хлебным полям, был июнь месяц, парило, и, наверное, небо было тогда в круглых белых барашках. Телеграфные столбы шли в бесконечность, на их проволоках кое-где сидели ласточки или воробьи и иногда висело мочало или клок сена, а раз я увидел, что там каким-то чудом зацепился старый лапоть, – и хоть бы одно деревцо разнообразило монотонную дорогу… Меня поразила ширина большака, сплошь заросшего травой, – куда шире Невского проспекта! Колей было сколько угодно, на выбор. Поразила меня и сама тамбовская земля – этот могучий чернозем, густой и вязкий, прилипавший толстенными глыбами к колесам, когда мы проезжали по лужам.

Мы сделали только одну остановку в каком-то селе, был праздник, отошла обедня, и я впервые увидел «русский народ» – баб в цветных платках и ярких кофточках навыпуск и мужиков в смазных сапогах, гуторивших у своих телег. Потом неожиданно раскинулся широкий, во весь горизонт пейзаж: внизу лежала ровная долина с безбрежными лесами, блестела река Ворона – и у меня захватило дух от этого зеленого простора! А затем пошли овраги, узкие и длинные, с причудливыми разветвлениями, разъедавшие поля по всем направлениям. Мама по дороге меня поучала: это гречиха, это рожь, это овес, это ячмень – я ничего не знал. И, она меня стыдила. Она велела мне дышать и дышать, и, действительно, этот вольный воздух точно насыщал меня.

Однообразный пейзаж менялся мало, редкие деревни, которые мы проезжали, не радовали глаз, все было удивительно бедно: соломенные и тростниковые крыши, серые избы с маленькими оконцами и крылечками, и нигде я не видел ни одного резного узора и даже наличника на окошке. Лишь кое-где колодезный журавль или одинокая растрепанная ветла оживляли бедный деревенский силуэт. Я вспомнил Литву, ее пейзаж возле Вильны и сравнивал: там везде в деревнях палисадники, все лето полные цветов, высокие резные кресты у въезда в деревню, березы, елки, сосны и фруктовые сады.

*(По М. Добужинскому)*

# 53

Сорока вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то рассеялась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилось по водяной глади.

На мгновенье он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз, они точно слиплись. И как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее состояние овладело им. Ему надоело поднимать свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо дышало бесконечным простором, и тонкий пар его дыхания поднимался к далеким звездам. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке: разбегаясь фосфорическим блеском, катятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка. Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади, задрожали звезды, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом.

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким, искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами, разметалась звездная ткань. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей, переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким водяным слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем.

*(По А. Серафимовичу)*

# 54

Дмитрий Андреевич сидел на черной лодке с удочкой и из-под соломенной шляпы с выгоревшей коричневой лентой смотрел на гусиный поплавок. Солнце припекало, созревшие камышовые метелки осыпали пыльцу в воду, на глянцевых лопушинах грелись сиреневые стрекозы, ртутными каплями сверкали на темной поверхности водные жучки, у берега всплескивала красноперка. Туда и норовил забросить крючок с червяком Абросимов, но он цеплялся за осоку, кувшинки. И поплавок бессильно ложился набок, а потом приходилось дергать удилищем, и все равно, случалось, крючок навсегда оставался на дне. Лучше уж на плесе ловить окуня: этот и берет энергичнее, и с крючка не срывается.

У того берега плавали пять красных кружков, которые Дмитрий Андреевич запустил на щук. Вроде один перевернут, а может, кажется – просто солнечный блик играет на пенопласте? На кружки ловить интереснее, чем на удочку, но слишком уж долго нужно ждать, пока хищница схватит наживленную на тройник плотвичку. А сколько раз он подплывал к перевернутому кружку, тянул за упругую жилку, и в самый последний момент щука сходила у лодки. Обычно она выбрасывалась из воды, изгибалась серебряной дугой и каким-то образом ухитрялась освободиться от тройника. С удочки тоже, случалось, срывались подлещики и плотвицы, но их не жаль – мелочь, а щуки на кружки меньше килограмма не садились.

Тихо вокруг, на озере лодок не видно: нынче будни, рыбачки сюда подвалят в пятницу вечером и в субботу утром. Здесь в основном рыбачат мотоциклисты с резиновыми надувными лодками, а те, кто на машинах, останавливаются на кордоне у Алексея – там, по соседству с его домом, в ельнике появились три зеленых фургона, когда-то они были на колесах, а теперь вот привезли сюда и оборудовали для рыбаков. Сильно досаждают моторки: озеро большое, вытянутое на несколько километров, и некоторые любители предпочитают ставить на лодки подвесные моторы – от них шум, вонь и, главное, рыба надолго перестает клевать. Пугается.

Прямо перед Дмитрием Андреевичем – заросший кустарником пологий берег, выше млеют на солнце красавицы сосны и ели. Над ними величаво плывут облака. Их воздушные тени скользят по тихой воде, заставляют ртутные бляшки менять свой цвет на золотой, водомерки же, наоборот, становятся серебристыми. Никогда Дмитрий Андреевич не предполагал, что рыбалка так успокаивает нервы, настраивает на философский

лад: думается о вечности, космосе, земле, мелкие домашние заботы отступают, становятся незначительными. Наверное, каждому человеку необходимо время от времени побыть наедине с природой.

*(По В. Козлову)*

# 55

Отчего так прекрасно все дорожное, временное и мимолетное? Почему особенно важны дорожные встречи, драгоценны закаты, сумерки и коротки ночлеги? Или хруст колес, топот копыт, звук мотора, ветер, веющий в лицо, – все, плывущее мимо, назад, мелькающее, поворачивающееся?

Как бы ни были хороши люди, у которых жил, как бы ни было по сердцу место, где прошли какие-то дни, где думалось, говорилось, и слушалось, и смотрелось, но ехать дальше – великое наслаждение! Все напряжено, все ликует: дальше, дальше. На новые места к новым людям! Еще раз обрадоваться движению, еще раз пойти или поехать, понестись – неважно на чем: на машине, на пароходе, в телеге, на поезде ли…

Едешь днем или ночью, утром или в сумерках, и все думается, что то, что было назади, вчера, – это хорошо, но не так хорошо, как будет впереди.

Какими только не бывают дороги! Тяжелые, разъезженные, грязные, пыльные, гладкие и чистые – блистающие сухим глянцем асфальта широкие шоссе, каменистые тропы, песчаные берега, где песок тверд и скрипуч, дороги древние, по которым еще татары скакали, и новые, с крашеными известью километровыми столбиками, дороги полевые и лесные, сумрачные даже в солнечный день.

И, как трудно бывает в дороге! Сидишь, скорчившись в кузове трясущейся машины между бочками с горючим, проводишь ночь на твердом вибрирующем сиденье речного катера, бьешься до синяков в телеге, задыхаешься от жары в металлическом вагоне, ночуешь на лавке при тусклом свете на какой-нибудь захолустной станции…

Но все проходит – усталость, злость, бешенство, нетерпение и тупая покорность от дорожных трудностей, не проходит вовеки только очарование движения, память о счастье, о ветре, о стуке колес, шуме воды или шорохе собственных шагов.

*(По Ю. Казакову)*

# 56

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, что случилось в Русской земле, и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой бессменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение пятисот лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим, он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего к гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни Сергия, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, на селе живущие.

И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякли, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в четырнадцатом веке. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Сергия, что в эти пятьсот лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

*(По В. Ключевскому)*

# 57

Воздух от нагретой земли поднимался сплошным теплым потоком и, встречаясь с холодной неподвижной высью неба, перемешивал с нею свое тепло, отчего начинал закручиваться и течь в сторону огромными валами. Так рождался верховой широкий ветер – над бурыми плавными холмами, над голубыми курганами – незаметный с земли мощный поток. И держась на его упругих струях, развернув крылья, как пловец руки, над степью повис ястреб.

Качаясь почти на одном месте, веером распустив рулевые перья и чуть пошевеливая концами крыльев, ястреб внимательно осматривал полынные кустики под собой, трещины в земле, черные отверстия сусличьих норок, две до блеска выглаженные колесами колеи дороги, вдоль которой он сейчас неспешно летел. Он видел, как у норок серыми столбиками замерли суслики и, вывернув головы, хитро смотрели на него снизу вверх, уверенные в своей неуязвимости. И встречаясь с кем-нибудь из них нечаянным взглядом, замечая в блестящей пуговке зверушечьего глаза мгновенно набухающий страх, ястреб презрительно и равнодушно отводил свои глаза. Он знал, что глупость сусликам не менее свойственна, чем мелочная хитрость, и рано или поздно кто-нибудь из них настолько уверует в себя, что станет дерзок и нахален, – и тогда погибнет.

Слева от дороги, порой совсем близко от нее, тянулась заболоченная пойма с зелеными зарослями камыша, и там, в оконце синей воды, стояли рядом две темные цапли, одинаково вывернув головы на своих гибких шеях. Они спокойно смотрели на стервятника, враждебно, без страха. Это были крупные, сильные птицы, с острыми пиками клювов. Переглянувшись с ними, ястреб два раза сильно взмахнул крыльями и скользнул вперед, дальше.

*(По А. Киму)*

# 58

День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света, видимо, убывает; но так как нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзаж будто расплывается в чем-то; трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжести.

Однако пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще дарит впечатление сильно побледневшего дня, и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмений преувеличены. «Неужели, – думалось мне, – эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит?.. Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь?»

Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге и, точно громадное покрывало, быстро пролетела по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство, укутала нас и в одно мгновение сомкнулась на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило гробовое молчание. Даже немец смолк, и только метроном отбивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну теплую массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость…

*(По В. Короленко)*

# 59

На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.

Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень – пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы, почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях!

Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке, злой ветер был не страшен, и осень еще не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву – огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.

А тропа дальше стала еще мучительней – она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.

На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно: семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок. До деревни, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.

О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стертыми ногами… Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море – сумрачное, холодное, но спокойное.

*(По Ю. Казакову)*

# 60

Я бы назвал эту пору в нашем городе сезоном бамбуковых удилищ. Город раскален летним солнцем. Рыболовы в соломенных шляпах и чесучовых пиджаках везут свои бамбуковые удочки к морю. Удочки не помещаются внутри коночного или трамвайного вагона. Их везут на площадках, откуда они высовываются десятками, задевая своими тоненькими, но удивительно прочными и гибкими верхушками сквозную листву отцветающих акаций.

Удочки уже оснащены всем необходимым: наполовину синие, наполовину красные узкие пробковые поплавки, в которые воткнуты стальные рыболовные крючки, и на тонком шпагате болтаются свинцовые грузила; тонкий шпагат привязан мертвым узлом к более толстому, обернутому вокруг конца удочки, раскаленного солнцем.

Хорошее бамбуковое удилище стоит довольно дорого; иметь настоящую бамбуковую удочку – лаково-канареечную, прочную, легкую, длинную – примерно такая же несбыточная мечта, как роликовые коньки или подержанный велосипед, о новом, разумеется, не может быть и речи.

Ах, как я завидую всем счастливым обладателям больших, или громадных, или даже средних и маленьких бамбуковых удочек, которые упруго склоняются к зеленой морской волне со скал, с купальных мостов, со свай, вбитых в дно возле берега, с шаланд, качающихся «на якоре», который заменяет привязанный к веревке дырявый камень, некогда отбитый штормом от известняковой скалы.

Как волновал меня вид ровно наполовину погруженных в морскую воду сине-красных поплавков, которые так плавно, заманчиво покачивали над литой пологой волной голый кончик своего гусиного пера.

*(По В. Катаеву)*

# 61

За поворотом протоки показался город. В нем зажигались огни. Возле порта, за причалом, в скоротечных сумерках чуть виднелись привязанные к столбам самолеты, будто лошади у стойл. Один маленький самолет был оранжевого цвета и угольком светился на снегу.

По мере того как разгорались огни в городе, затухал уголек-самолетик на снегу и пестрая «колбаса», качающаяся на мачте над зданием авиагидропорта, погружалась в небо, в сумерки.

Издали город, прилепившийся на правом берегу протоки, почти в устье ее, казался разбросанным, дома в нем разбрелись куда попало: где густо, где пусто, будто с самолета горстями раскидывали дома по лесотундре. Но вот зажглись огни повсюду, домов не стало видно, и все приобрело порядок. Огни городские всегда что-нибудь прячут, скрывают собой. Почти сливаясь в сплошную цепь, окаймляют пятна огней лесобиржу. В середине ее, возле штабелей, уже редко и нехотя помигивают полуслепые лампочки. Ближе к Старому городу, у проходных, гудят непрерывным гулом лесовозы. Возле них огней больше. В Новом городе еще один квадрат – самый светлый – каток. На окраине уже квадрат не квадрат, а кривая дуга из лампочек, вытянутая вдоль берега, – нефтебаза.

Город заключен в огни. Люди живут и работают, высвеченные со всех сторон, а за ними темнота без конца и края. Верстах в девяноста от города, в сторону севера, лес исчезает совсем. Там тундра. Там ночь светлее от снегов, не затененных лесами и жильем. Ночь беспредельная и неспокойная от позарей.

*(По В. Астафьеву)*

# 62

Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи!

Помню, в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко. Для того чтобы вынуть из книжки золотой листок, надо было на него осторожно подуть. Тогда с легким шелестом он приподнимался, и можно было его очень осторожно, двумя пальцами вынуть из книжечки и подержать на весу, прислушиваясь к шороху, который он издавал, почти неслышному и все же – как это ни странно – металлическому.

Для того чтобы как следует приготовить золотой орех, требовались следующие вещи: чайное блюдце с молоком, молоток, обойные гвоздики, немного разноцветного гаруса. Нужно было подуть в книжечку, чтобы в ней зашевелились золотые листики, а затем один из них нежно вынуть чистыми, сухими пальцами. На грязных или же влажных пальцах – чего Боже упаси! – тотчас же оставались золотые следы, подобные отпечаткам пыльцы с бабочкиных крыльев, и сусальный листик оказывался безнадежно испорченным, продырявленным.

Если удавалось, не повредив, извлечь из книжечки сусальный листик и с величайшей аккуратностью положить его на чистый, сухой стол, тогда предстояла еще одна операция, не такая тонкая, но все же требующая чистоты и аккуратности: нужно было двумя пальцами взять грецкий орех – иногда его у нас в городе называли волошский, – по возможности красивый, спелый, нового урожая, с чистой, твердой скорлупой, и равномерно вывалять его в блюдце с молоком, после чего, подождав, пока лишнее молоко стечет, осторожно положить его на сусальный листик и закатать в него с таким расчетом, чтобы весь орех оказался покрытым золотом. Вызолоченный таким образом, слегка влажный, но восхитительно, зеркально светящийся золотой орех откладывался в сторону на чистый подоконник, где он быстро высыхал и становился еще более прекрасным.

*(По В. Катаеву)*

# 63

Наверху грохотали тяжелые башенные орудия, и от выстрелов содрогался воздух. По-видимому, бой разгорался во всю мощь, решая участь одной из воюющих сторон.

Внизу, в самом операционном пункте было тихо. Ярко горели электрические лампочки. Нарядившись в белые халаты, торжественно, словно на смотру, стояли врачи, фельдшеры, санитары, ожидая жертв войны. Около выходной двери, в сторонке от нее, сидел на табуретке инженер Васильев, вытянув недолеченную ногу и держа в руках костыли. Он поглядывал на стоявшего поодаль священника, словно любуясь его одеянием, переливающимся золотом и малиновыми оттенками, его огненно-рыжей бородой, окаймлявшей рыхлое и бледное лицо. В беспечной позе, заложив руки назад, стоял Добровольский. Младший врач Авроров, небольшого роста полнеющий блондин, скрестив руки на груди и склонив голову, о чем-то задумался. Быть может, в мыслях, далеких от этого помещения, он где-то беседует с дорогими для него лицами.

Рядом с ним, пощипывая рукой каштановую бородку, стоял старший врач Макаров, высокий, худой, с удлиненным матовым лицом. И хотя давно все было приготовлено для приема раненых, он привычным взором окидывал свое владение: шкафы со стеклянными полками, большие и малые банки с разными лекарствами и растворами, раскрытые никелированные коробки со стерилизованным перевязочным материалом, набор хирургических инструментов. Все было на месте: морфий, камфара, эфир, мазь от ожогов, иглы с шелком, положенные в раствор карболовой кислоты, волосяные кисточки, горячая вода, тазы с мылом и щеткой для мытья рук, эмалированные ведра, – как будто все эти предметы выставлены для продажи и вот-вот нахлынут покупатели.

Люди молчали, но у всех, несмотря на разницу в выражении лиц, в глубине души было одно и то же – напряженное ожидание чего-то страшного. Однако ничего страшного не было. Отсвечивая электричеством, блестели белизной стены и потолок помещения. Слева, если взглянуть от двери, стоял операционный стол, накрытый чистой простыней. Я смотрел на него и думал, кто же первый будет корчиться на нем в болезненных судорогах?

Освежая воздух, гудели около борта вентиляторы, гудели настойчиво и монотонно, словно шмели.

Мы почувствовали, что в броненосец попали снаряды – один, другой. Все переглянулись, но раненые не появлялись.

*(По А. Новикову-Прибою)*

# 64

Мы направились в глубь тропического леса. Пришлось запастись дождевиками и зонтами. Но дождь быстро сменяется ярким солнцем. Когда идет дождь, все замолкает, вся жизнь притихает. Но вот ливень прошел, показалось голубое небо, засияло солнце, и все ожило. Начинается невероятная трескотня цикад, какой-то своеобразный шелест, треск сучьев. Вылетает множество колибри, разнообразных насекомых, среди которых то и дело можно видеть огромных, изумительно красивых голубых перламутровых бабочек. Поимка их сопряжена с большими трудностями ввиду болотистой почвы. Вот и настоящий лес. Своеобразно прежде всего в этом лесу огромное количество наклонившихся, упавших деревьев.

Обычным путем по такому тропическому лесу служат реки и речки, как бы система каналов, по которой можно, хотя и с трудом, продвигаться на лодках. Все время приходится расчищать путь, раздвигая упавшие деревья. Речки тропических лесов изобилуют рыбой, аллигаторами, черепахами. Заболоченные леса полны лягушек, змей, муравьев. Совершенно невероятное количество разнообразных форм жизни во всех видах наполняет тропический лес. Изредка можно слышать рев ягуаров, единственного крупного животного тропических южноамериканских лесов. Среди деревьев и над деревьями нередко целыми группами, в особенности после дождя, вылетают райские птицы и пестрые попугаи, которые наполняют воздух своим своеобразным рокотом. Почти каждую минуту проносятся над головой огромные жуки величиной с небольшую птицу.

Жить в таком лесу нелегко, и поэтому огромные пространства тропических лесов пока еще очень мало заселены, хотя нет сомнений, как показывает опыт других стран, в возможности расчистки тропического леса, проведения дорог, свидетелями чего мы были на Амазонке.

*(По Н. Вавилову)*

# 65

Караван медленно двигался по малопроезжим тропам, останавливаясь в редких кишлаках на ночлег. Впоследствии нам приходилось встречать немало сложных горных путей, но, пожалуй, этот был наиболее трудный. Проход в Гарм был отделен почти отвесной горной скалой, рассеченной пополам. Лошадей пришлось обводить низом, через горные реки. Проводники, перекинувшись через трещину более метра шириной, устроили живой мост, по которому пришлось перейти мне и моему спутнику. Особенно трудно пришлось хану при его семипудовом весе.

После перехода трещины значительная часть пути шла по краю ледника. Ночлег нас застал под скалами. Путешествие не было рассчитано на ночлег около ледников. Отсутствие теплой одежды заставляло скорее двигаться дальше. Состояние замерзающего в течение двух суток не очень приятно, и оно смягчается лишь общим пониженным тонусом – безразличием ко всему, что бы ни случилось.

Предстоял знакомый путешественникам по Памиру переход через вбитые в висящие над пропастью скалы деревянные переплеты в виде узких полос, пригодные только для осторожной пешей переправы. Еще и теперь мы вспоминаем один из таких трудных переходов.

Дорога вилась тонкой змеей вдоль реки по отвесной горе над пропастью глубиной до 1000 м. То и дело естественная тропа заменялась искусственно сделанной ступенью из деревянных перекладин, покрытых настилом. Тропинка то сужалась, то расширялась, а иногда представляла собой целую лестницу с высокими ступенями, по которым даже привычных к горам лошадей можно было перевести только с большой осторожностью.

Вот как будто и пройден самый трудный путь, можно сесть верхом на лошадь и двигаться дальше. Неожиданно из скал наверху над тропой из гнезда взлетают, размахивая огромными крыльями, два крупных орла. Лошадь всхрапывает и начинает вскачь нести по тропе. Поводья от неожиданности выпали из рук, приходится держаться за гриву. Над самой головой выступы скал. А внизу, в пропасти на тысячу метров, бурно течет красивый синий Пяндж – верховье великой реки Средней Азии… Это то, что впоследствии больше всего вспоминает путешественник. Такие минуты дают закалку на всю жизнь, они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям. В

этом отношении мое первое большое путешествие было особенно полезно.

*(По Н. Вавилову)*

# 66

Огромное расстояние отделяет примитивные, казалось бы, звуки, рожденные на колокольне, от тончайшего совершенства симфонической музыки. Но, честное слово, испытываешь глубокое волнение, слушая мерные удары колокола с подголосками маленьких колоколов и чириканьем воробьев, уловленным микрофонами на колокольне в паузах между ударами. Стены жилья в эти минуты перестают существовать. Чувствуешь большие пространства с плывущим над ними набатом, и воображение без труда рисует людей, идущих на вечевую площадь, или тревожную сумятицу городского пожара, или приближение к стенам города неприятеля.

С древнейших времен колокола на Руси сопровождали весь жизненный путь человека. Колокольный звон объединял людей на праздниках и перед лицом неприятеля. Колокола звали людей на совет, в непогоду указывали дорогу заблудившимся путникам, колокол отсчитывал время. И, видно, велика была мобилизующая сила звуков, коль скоро Герцен назвал свой мятежный журнал «Колоколом», если, покорив город, неприятель первым делом увозил из него вечевой колокол, а русские цари за провинность отправляли колокола, как людей, в ссылку.

Петр I переплавлял колокола в пушки. В тридцатых годах, помню, в нашем селе Орлове тоже снимали колокола. Огромная толпа любопытных. Бабы крестились: «Трактора будут лить». И действительно, в том же году по селу, сверкая шпорами, проехал новенький трактор, подтверждая для нас, мальчишек, реальность странного превращения.

Репродуктор вытеснил колокол. Но, согласитесь, интересно ведь услышать и понять звуки минувшего. Помните, в фильме «Война и мир» торжественный колокольный звон! В другой картине – «Семь нот в тишине» – есть прелестный рассказ о звоннице и звонарях. И наконец, грампластинка, приносящая звоны прямо в твое жилье…

# 67

Я не моряк, но так получилось, что за двенадцать лет прошел добрый десяток тысяч миль на самых разных судах – от карбасов и мотоботов до тральщиков и зверобойных шхун. И случались прекрасные плавания, когда неделю и больше море не шелохнется, а белые, тугие облака с утра до вечера стоят, кажется, на одном месте.

И все-таки в самом легком плавании устаешь. Устаешь от беспрерывного, круглосуточного, кругломесячного гула двигателя, от вибрации корпуса, палубы, койки, супа в тарелке и чая в стакане, от вибрации собственного тела.

Другое дело паруса! Да еще попутный ветер! Тогда в движении судна есть что-то от полета. Мчишься почти вровень с ветром, паруса туго натянуты, напряженные мачты поскрипывают и выгибаются слегка вперед, волна с бесконечно закручивающимся гребнем долго шелестит сзади, медленно приближается, подходит под корму, шлюпка приподымается, потом оседает, следует удовлетворенное «у-ух!» где-то у нее под пузом, шлюпка слегка сваливается налево, ты налегаешь на руль, выправляя по курсу, и тут же под кормой начинает петь, журчать как бы ручеек по камушкам. Шлюпка делает носом медленный, плавный мах направо, а ты опять бросаешь руль, чтобы ее ветром и волной повело опять налево… Это как вдох и выдох.

*(По Ю. Казакову)*

# 68 На медведя

Тихо. Только над валежником стрекочет синекрылая сойка. Синими и зеленоватыми искрами блестит снег, словно усыпанный алмазной пылью; от белизны и света, разлитого вокруг, больно глазам.

Вдруг слышу хриплое рычание, хруст сучков. В валежнике на мгновение мелькнуло что-то мохнатое, раздался выстрел. Содрогнувшись, далеким эхом откликнулся лес.

Я выпалил вдогонку медведю, и снова страшный рев, смешанный с яростным лаем, всколыхнул утреннюю тишину. Вижу: убегает от нас зверь, подкидывая кургузый зад, словно кувыркаясь. Он глубоко проваливается в снег, а Пыж, длинноухий пес, преследуя, мечется около него по насту, точно по гладкой дороге.

Медведь не останавливается, уходит. Вот он повернул в сторону. Савелий помчался наперерез. Забыв об опасности, он с близкого расстояния метнул в него рогатину…

Рявкнув, медведь повернулся, на мгновение замер, ощетинив темно-бурую шерсть, дико озираясь, словно ослепленный ярким солнцем. И вдруг, точно поняв, кто главный враг его, стремительно понесся на Савелия. Старый охотник спрыгнул с лыж и, утвердившись в снегу, ждал, крепко держа рогатину. Медведь быстро приближался, мотая головою, исступленно рычал, потрясая лес. Остался еще один прыжок, но он поднялся на дыбы, огромный, страшный в гневе. Тяжелые передние лапы, выпустив когти, судорожно тянулись к охотнику, готовые схватить его. И еще сильнее, еще оглушительнее, вызывая грохочущее эхо, покатился по дремучему лесу рев, полный яростной злобы и предсмертной тоски. Медведь наступал, шагая на задних лапах, охотник, немного согнувшись, твердо стоял на месте, выжидая удобного момента для удара – оба черные, лохматые, похожие друг на друга. А когда в грудь медведя вонзилась острая рогатина, он сильным ударом лапы сломал ручку ее и, обрушившись своим грузным телом на упавшего охотника, начал беспощадно рвать его зубами и когтями, переворачивая человеческое тело, точно игрушку. Пыж, заступаясь за хозяина, с яростью набрасывался на зверя. Казалось, все трое, барахтаясь в снегу, обезумели, издавая крик, лай, рычанье, наводняя лес диким гулом.

Быстро зарядив ружье, я прицелился в голову медведя. Грянул выстрел. Когда дым рассеялся, медведь был уже мертв. Савелий лежал на снегу, привалившись головой к еще теплой

спине медведя, бормотал, точно пьяный, блуждая глазами: «Вот оно что… Небо-то какое красное… в кругах». Пыж, задыхаясь от усталости, лизал ему лицо и руки.

По-прежнему было тихо. Сияло бледно-голубое небо, ярко горело солнце, разливаясь блеском по чистому снегу, а лес, обласканный ясным днем, зачарованно молчал, сверкая белым нарядом инея, точно распустившимися цветами. Вокруг было радостно, светло, словно ничего не случилось. И только Пыж, оставшись около хозяина, протяжно выл, оплакивая старого охотника.

*(По А. Новикову-Прибою)*

# 69

Я живу в доме на высоком холме. Леса кругом горят осенними пожарами. По утрам пойма Оки наливается голубым туманом, и ничего тогда не видно сверху, только верхушки холмов стоят над туманной рекой красными и рыжими островами.

Листопады особенно сильны по утрам, после ночных заморозков, и, когда я спускаюсь вниз к роднику, а потом медленно иду лесом домой, в ведрах моих плавают листья, которые попадают туда на косом полете, стукаясь сперва о мои руки.

Иногда дали мутнеют и пропадают – начинает идти мельчайший дождь, и каждый лист одевается водяной пленкой. Тогда лес становится еще багряней и сочней, еще гуще по тонам, как на старой картине, покрытой лаком.

Днем на полянах, нагретых солнцем, летают по-летнему оживленные мухи и бабочки. Трава, елки и кусты затканы паутиной, и жестяно гремят под сапогами шоколадные дубовые листья. Покрикивают буксиры на Оке, зажигаются вечерами бакены, гудят по склонам холмов тракторы, и кругом такие милые художнические места – Алексин, Таруса, Поленово, кругом дома отдыха и такая мягкая, нежная осень, хоть время идет уже к середине октября…

Осень теперь и на Белом море. Но там она иная – ледяная и жестокая. Там мигают теперь во тьме огни маяков и с устрашающей силой дуют ветры. Там в редкие дни идет снег, и на море появляется первый лед. Мистически вспыхивают там по ночам безмолвные северные сияния. Суда в море кренятся так, что катятся моряки по палубам. И, многих смывает за борт, и тогда летят в черное небо тревожные ракеты, пляшет по волнам дымный свет прожектора и долго вздымается и опадает на проклятом месте осиротелое судно. Там рыбаки на берегу вваливаются в избу насквозь мокрые, с закоченевшими сизыми руками и никак не могут отогреться, слушая, как под окном ревет море.

*(По Ю. Казакову)*

# 70

Солнце садится. Садится оно медленно и все краснеет, краснеет… Оно окружено облаками, которые багровы, прозрачны, с огненными краями и напоминают вздыбившиеся волосы рыжей женщины. По мере того как садится солнце, море темнеет, становится ультрамариновым, почти черным. Мрачный голый берег тянется справа от нас, вытягивая сзади черные мысы все дальше в море, все ближе подбираясь к низкому шару солнца, – мы входим в залив.

Время десять, потом четверть одиннадцатого, потом половина, потом без двадцати… Солнце, кажется, остановилось, а берег за нами крадется все дальше в море, вот-вот закроет солнце, и нам хочется, чтобы оно скорее село. Но оно все не садится, и берег наконец закрывает его, и мы видим теперь только черную плоскую полосу берега под зеленовато-алым небом и облака – внизу огневые, ярко-красные, выше – желтей и совсем высокие серебристые облачка, которые будут так стоять всю ночь, не теряя своего белого цвета.

Смотрю вперед и вижу, что противоположный правый берег бухты приблизился, красно освещен и так же ровен, плосок, как и задний, вода мутнеет, мы входим в реку.

Еще полчаса ходу, и вот показывается то, что мигом выводит нас из оцепенения. Показываются первые сизые постройки, высокие амбары на берегу, очень редкие, одинокие, со съездами, по которым можно вкатывать бочки и даже въезжать на телеге на второй этаж. Возле амбаров стоят свежеотесанные желтоватые колья от ставных неводов. Колья высокие, метра три с половиной, составлены в пирамиды и напоминают издали индейские вигвамы.

Дома, избы, серые и черные от времени, с белыми наличниками окон, в два этажа, все чаще. На берегу видны уже следы людей и коров, уже чернеют первые вытащенные на берег карбасы, а впереди видна церковь без креста, частота построек, деревянные тротуары, изгороди, перечеркивающие все это зеленое и серое, глухие длинные бревенчатые стены складов и домов, виден причал, бот возле причала, моторки на якорях – все повернутые носом против течения, на берегу дикий, громадный, неожиданный здесь крест – покосившийся, поддерживаемый только проволокой, натянутой от земли к телефонному столбу.

*(По Ю. Казакову)*

# 71

Принесся издалека не крик, а гудящий, грубый, ровный голос, медный, тяжелый голос. Он принесся с той стороны, где все еще упрямо не хотела потухнуть кровавая полоска, где еще маячили очертания и долго стоял не похожий ни на один степной звук, чуждый тишине, задумчивому ночному безмолвию, потонувшему степному простору, чуждый степной жизни, наивный, бедный, но самобытный, не похожий ни на что.

Он долго держался, этот тяжелый колеблющийся звук, оборвался, снова два раза коротко откликнулся – и смолк. И испуганно, и недоуменно глядела туда смутно мерцающая, неуловимо-призрачная мгла.

Смолк.

Огоньки, как булавочные уколы, прокололи темноту, кучкой рассыпавшись в той стороне, точно гнездо звезд, на темной молчаливой земле.

Черно и пусто стоял курган. Потух последний след зари.

Молчаливая степь темно объемлет не то дома, не то пригорки, не то черные сгустки ночи. Может быть, и улиц нет.

Но, говоря о человеческом, жалко тянутся из крохотных оконец полоски света, и в них проступает бурьян, колючки, старые, иссохшие колеи неуезженной дороги. Над самой землей светятся тусклые оконца, как светляки в темной траве, беспорядочно-рассыпанно или кучками, точно таинственно для чего-то сползлись вместе, ищуще протянув по траве, по бурьяну перекрещивающиеся светлые лучи.

Собаки не лаяли, как в деревне, перекликаясь, добродушно, упрямо, подолгу, а вдруг одиноко накинется где-нибудь в темноте с остервенением, захлебываясь, хрипя, и замолчит, и опять только темь да приземисто разбросанный свет крохотных, перерезанных переплетами окошечек.

Не воровской ли притон? Или не остановились ли в ночной степи табором проходящие люди?

Не шевелясь, заслонили все небо сухие, бездождевые тучи, неподвижно прислушиваясь.

Свет разбросанных оконец подержался и стал гаснуть один за другим, как потухающие в темноте искорки. Потухли и протянувшиеся полосы света. Пропал бурьян, колючки, колеи. Одна безграничная, молчаливая тьма.

Но среди сна и покоя, среди темноты и неподвижности в двух местах, далеко друг от друга, затерянный ночной свет, – не спят.

*(По А. Серафимовичу)*

# 72

Степь, по которой от края до края протянулись сухие сизые тени, еще пышущая неостывшим жаром, молча глядела в белесо-мутную сухую мглу.

За дальним курганом – красное, усталое, осоловелое солнце, скорбное и измученное после буйно палящего, не знавшего отдыха дня.

Полегли спать насвистевшиеся, набегавшиеся за день суслики. Не плавали кругами распластанные коршуны; не висели в воздухе внимательно трепещущие копчики; не стрекотали на все лады кузнечики, степные музыканты, которых понимает и любит только степь.

Последние тени сливались, да мгла глядела, слепая, необъятная, да за курганом тускнело мертвое зарево. А на кургане стояла конная фигура, черно вырезываясь на мертвеющем закате. Нельзя было разобрать, женщина или мужчина сидел на лошади. Только голова в мохнатой калмыцкой шапке была внимательно повернута в ту сторону, где за краем тухла кровавая полоса.

Неподвижно чернела лошадь. Неподвижно чернела фигура степного жителя. Неподвижна была беззвучно прислушивающаяся степь.

В давно забытые времена, о которых и память стерлась, быть может, на кургане чернела конная фигура, и носился орлиный клекот, и рыскал степной зверь, и смутно волновался седой ковыль, и вольно над степным простором неслись победные гортанные крики.

Молчала степь, и неподвижно чернела повернутая голова, тух закат, мертвенно и смутно стояла ничего не таящая белесая сухая мгла.

И когда над темным краем земли осталась узко кровавившаяся полоска, готовая затянуться, лошадь, вздернутая поводьями, шевельнулась, спустилась с кургана и, не спеша, покачивая молчаливой фигурой, стала тонуть в той стороне, где уже давно стояла ночь.

И потонула. Сухая, шершавая, потрескавшаяся земля жадно поглотила звук копыт.

*(По А. Серафимовичу)*

# 73

Совсем уже почти рассвело, когда мы подъехали к заказу. Слезаем. Далеко видно со взгорья. День теплый, сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воздухе, над вылезшими из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и лениво ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, мглисто-сизоватый налет уходящей ночи. Кажется, будто и лесочки как огромные лесные звери. Только что проснувшиеся, они потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачно-сладострастное подкатывается к сердцу. И собаки беспокойны, все тянутся в одну сторону; трудно держать их на смычке, а у мудрого Добыча от частого разгоряченного дыхания падают капельки с языка. Вот он подымает на меня свою седеющую морду с прокушенным ухом. Как мы понимаем друг друга!

Лошадь привязана в кустах. Гришка ведет гончих на смычках в обход, я лезу по колено в снегу.

Вот «лаз»: извилистая лощинка в снегу, сходящемся мысочком – нельзя будет «ему» миновать меня. Так и напорется.

Почему-то вспоминается мне опять Добыч; иногда он тоже охотится. Молодежь гоняет, а он, не торопясь, трусцой забежит наперерез, станет на лазу и ждет зайчишку. Так же этот волк цапнул вчера мою Затейку, и теперь, слегка подраненный, залег где-то в чаще заказа. И равно меня, собак и волка охватил этот далекий, неясно маячащий горизонт. Слышно, как сороки стрекочут вдали; вот даже видно, как они ныряют в воздухе, длинными, бело-черными стрелками. Хитрые, неприятные птицы – несмотря на кажущуюся веселость: в самых далеких глухих чащах, где гниет и разлагается что-нибудь, они беззаботно трещат и перепархивают с ветки на ветку.

Но вот собаки гонят. Низкий, мерный бас Добыча похож на набат, а вокруг толпятся и прыгают наперебой веселые, как перезванивающие колокола, голоса молодых.

*(По Б. Зайцеву)*

# 74 В лесу зимой

В начале марта, после нескольких дней оттепели, снова ударил мороз, образовав наст, крепкий и гладкий, как стекло. В обед мы отправились на охоту, а к вечеру уже далеко забрались в глушь дремучего леса, легко прокатившись на лыжах верст пятнадцать. Нас было трое: Савелий, старый охотник, толстый и круглый, как улей, с походкой, точно он к кому-то крадется; Пыж, длинноухий его пес, понимающий по части охоты не хуже своего хозяина, и я, в то время еще подросток. Все наше оружие состояло из двух простых одностволок, двух топоров и отточенной рогатины. Выбрали место для ночевки под большими лохматыми елями, точно под шатром, и стали снимать с себя все лишнее.

– Не замерзнем? – спросил я.

Воткнув топор в дерево, Савелий повернул ко мне свое обветренное лицо с вывороченными ноздрями, заросшее черной лохматой бородой, хмуро посмотрел на меня из-под шершавых бровей и прохрипел точно про себя:

– Будем спать как на печке.

Кругом ни одного живого звука. Только дует ветер, шумит лес, загадочно качая высокими вершинами, и скрипит, словно стонет от боли, подгнившая сосна. В сгущающихся сумерках, кружась, точно гоняясь друг за другом, реют снежинки.

Пыж, набегавшись, исследовав все вокруг, обнюхав все деревья, уселся на задние лапы и, помахивая хвостом, смотрит, как я развожу огонь.

Вспыхнув, быстро разгорается береста, свертываясь в трубку, давая копоть, пахнущую дегтем. Затрещали сухие сучки: огонь, перебегая от одного к другому, ласково лижет их острыми длинными языками. Над костром вьется, кудрявясь, сизый дым, он становится все гуще, ширится, вырастая в волнующиеся клубы. Через минуту, пробившись сквозь толщу наложенных дров, высоко поднялось пламя и весело пылает, раздвигая навалившуюся тьму, щедро разбрасывая вверх золото искр. Словно испуганные, заметались вокруг тени, населяя лес привидениями.

Ветер налетает все реже и реже, а снеговые тучи, сплошь закрывшие было небо, разрываются на части, и между ними, из глубоких темно-синих озер, кротко мерцают хороводы звезд. Лес замолк, и в зареве пылающего костра он кажется волшебно-призрачным, будящим уснувшие мечты о чем-то далеком. Из котелка, установленного на раскаленных углях, словно на червонцах, бьет пар, разнося приятный запах супа. Тепло около

огня, приятно.

*(По А. Новикову-Прибою)*

# 75

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно. Снег был одет в жесткую сухую пленочку, чуть-чуть хрустевшую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий холодный снежок змейками курился по этому насту и насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала луна.

Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные – угрюмые и ободранные – старались поаккуратнее попадать в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.

Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие бледные поля, по которым ветер гулял вольно и беззастенчиво – и каждый одинокий кустик казался огромным и страшным; неизвестно было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли, и волки злобно пятились, у каждого была одна мысль: скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы мне уйти.

Когда взобрались на длинный, бесконечный пригорок, ветер еще пронзительней засвистел в ушах: волки поежились и остановились.

За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете.

Внизу, под склоном, пятном виднелась деревня; кое-где там блестели огоньки, и волки злобно вдыхали запахи лошадей, свиней, коров.

*(По Б. Зайцеву)*

# 76

Я плохо играл в футбол. Совсем плохо, что признаю теперь, нимало не щадя самолюбия. Только в мечтах ощущал я себя бегущим легко и упруго по двору, неудержимым своим видом вызывая на себя решающий пас, которым я, разумеется, великолепно воспользуюсь, с ходу, без секунды промедления пробив в «дальний угол ворот».

Конечно, и вратарем воображал я себя, в кепке, натянутой на лоб, в зимних перчатках со взрослой руки, выскакивающим бесстрашно и как-то особенно авторитетно навстречу грозным дворовым форвардам – наяву о такой божественной привилегии, о несбыточном этом счастье неразумно было и мечтать!

Вообще жизнь с жестоким пренебрежением лишала меня малейших футбольных надежд. А я все не отчаивался. Я был похож на совершенного, заклятого неудачника-картежника, которого музы азарта сглазили давно и навсегда, но он, едва заведутся в кармане призрачные деньги, уже спешит с обморочным замиранием сердца к карточному столу. И на отвергнутого влюбленного походил, с упорством маньяка посылающего букеты, изводящего свой предмет ненужными телефонными звонками.

Отсутствие таланта, недостаток удачи, нехватку взаимности я возмещал, как и положено, энтузиазмом. За это меня и принимали в игру, допуская великодушно, что уж если и пользы от меня данной команде не будет, то уж и вреда, во всяком случае. Я изо всех сил старался оправдать такую снисходительную репутацию: бросался наперерез наиболее опасному противнику, он бывал не только сильнее меня и искуснее, но еще и старше лет на восемь, вертелся у него под ногами, перед глазами у него мельтешил, уж не отнять мяч надеясь. Это было бы непростительной дерзостью, но просто, подставив вовремя ногу, отбить мяч в аут, то есть в нашем конкретном случае в какой-нибудь дальний угол двора, заваленный хламом.

*(По А. Макарову)*

## 77

В небе зарделось и встало солнце. И, в ответ небу зарумянилась степь, зарумянились поля, покраснела опушка леса, закурилась речка легким золотистым туманом. Синяя даль, видная в одну сторону от леса, дрогнула, как живая, в молодых и стремительных солнечных лучах. Из ее загадочной глубины сверкнули кресты каменной церкви, засияла круглая и ясная поверхность озера.

Над степью, что прилегала к самому лесу, стлалась полупрозрачная дымка поднявшейся росы, и сквозь эту дымку странно обозначались цветы и высокие травы: все как будто в глазах росло и тянулось к солнцу, туман казался дыханием просыпающейся земли, в неподвижных очертаниях растений чудилось что-то живое, что-то свободное от неподвижности, воздух был трепетен и напоен жизнью. И роса, совлекаясь с травы, с полей, с леса и воды, уходила в светлое и свежее пространство и растворялась в лучах медлительно поднимавшегося солнца. И точно зная, что пришел час еще более оживить трепет пробуждения, из травы быстро выскочил жаворонок, шевельнул отсыревшими перьями и взвился к небу. За ним взлетел другой, третий… Серебристые голоса зазвенели в небе, и все стало радостно и переполнилось несказанным трепетом жизни.

И на душе у Федора все шире и шире росло чувство спокойной радости. Ему не хотелось подыматься с мокрой травы; он не спеша покуривал свою цигарку, поплевывал и смотрел по сторонам. В деревне задымились трубы, заскрипели ворота, мычание коров слышалось протяжное и гулкое. Но кроме деревни, из которой вышел Федор, да большого села вдали не было видно других поселений; все кругом было просторно, пустынно и широко, и на этом просторе вольно расстилалась холмистая степь, отливала синеватым цветом густая и ровная пшеница, серела выколосившаяся рожь.

*(По А. Эртель)*

# 78

Большая группа туристов возвращалась на базу после изнурительного похода. Погода была ветреная, холодная. Наступали сумерки. Продвигаться впотьмах было далеко не легко. Но командир похода правильно рассчитал, что следует идти в потемках, чтобы прибыть к месту в срок.

Туристская база располагалась невдалеке от деревеньки со смешным названием – Глиняная сторожка. Там – отдых и сытный ужин.

Обессилевшие участники похода уже двенадцать часов кряду бредут по песчаной дороге, а синевато-голубоватая лента небольшой, но глубокой и быстрой речонки, расположенной неподалеку от деревни, до сих пор так же далека. Туристы идут и поодиночке, и по двое, и по трое. Измученная клячонка с трудом тащит груженную необходимым снаряжением подводу.

Бок о бок с командиром похода шагает весельчак и балагур Илья Кузьмич Птицын. Всегда оживленный, болтающий без умолку, он сейчас молчит, только тяжело дышит да изредка в сердцах шепотом что-то говорит командиру. Оба они совершенно обессилели, но нельзя было в открытую признаться в этом.

И вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса появился огромный сноп огненных искр. Тотчас же появились языки пламени. Сомненья не было – горел лес. Вскоре до туристов дошел и запах удушливой гари.

Лица усталых, измученных людей вмиг преобразились. В глазах появилась твердая решимость броситься на спасение народного богатства.

Быстро, по-военному сделав необходимые распоряжения, отослав нескольких связных за помощью в близлежащий районный центр, командир повел туристов в бой с одним из жестоких и опасных врагов мирной жизни всех людей на земле – лесным пожаром.

*(По Д. Розенталю)*

Если вы хотите укрепить здоровье, закалиться и поправиться, послушайте советы опытных физкультурников и проверьте их.

Не ждите, когда выдастся теплый день. Он может скоро и не выдаться. Начинайте заниматься физкультурой в любую погоду. А вот обтираться лучше всего начинать в мае месяце. До этого научитесь не бояться комнатного воздуха, не менее месяца приучайтесь к прохладе и занимайтесь гимнастикой в хорошо проветренной комнате.

Если вам удастся легко преодолеть воздушное закаливание, то и водное должно хорошо удаться.

Остерегайтесь поддаться соблазну сразу обливаться холодной водой. Тот из вас, кто не поддастся этому, сумеет быстрее перейти от обтирания комнатной водой к душевым процедурам, а затем переключиться и на холодные ванны.

Старайтесь особенно активно использовать летнее время. Ранним утром отправьтесь к речке. Позаботьтесь о еде: после купанья аппетит особенно хорош.

Около речки присядьте на песчаный бережок, отдохните. Спрячьте в прохладное место ваш завтрак. Разденьтесь, пробегитесь по бережку несколько раз, затем бросьтесь в воду. Никогда не бойтесь окунуться сразу, не мучьте себя постепенным водяным охлаждением. Не бойтесь простудиться, оставьте ваши страхи, обнаружьте силу воли! Вы ведь уже зимой приучили себя к прохладе и водным обтираниям.

Вас обдаст здоровым холодком, но не трусьте, отправьтесь вплавь к другому бережку. Через несколько минут тело ваше загорится приятным, радостным теплом. Как следует изучите дно речки, пруда или озера, отметьте все глубокие места и никогда не лезьте в прибрежные камышовые заросли или в осоку: можно порезаться. Поначалу плавайте недолго. После купанья лягте на горячем песчаном бережку.

Если вы систематически будете купаться, станете сильным, выносливым, перестанете бояться охлаждения, простуды. Закаляйте свое здоровье!

*(По Д. Розенталю)*

# 80

Я ушел далеко за город. По краям дороги, за развесистыми ветлами, волновалась рожь, и тихо трещали перепела, звезды теплились в голубом небе.

В такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая; что за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую – эта красота недоступна мне, я не способен воспринять ее во всей целости. И то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному.

Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. Над рожью слышалось как будто чье-то широкое, сдержанное дыхание, в темной дали чудилась то песня, то всплеск воды, то слабый стон. Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием, каждый колебавшийся колосок, каждый звук как будто чувствовал себя на месте, и только я стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему.

Меня потянуло в темную чащу лип. Из людей я там никого не встречу: это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с нею живет только ее сын-студент. Он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома. Говорят, он замечательно играет на скрипке, и его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность.

Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивою канаву и покосившийся плетень. В траве, за стволами лип, слышался смутный шорох и движения. И тут везде была какая-то тайная и своя, особая жизнь.

Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мной раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за кустами акации белел небольшой флигель, и звуки неслись из его раскрытых настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома… Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубым оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки.

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация! Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то. Не самою мелодией приковывали они к себе, – ее, в строгом смысле, даже и не было, – а именно этим томлением

по чему-то другому, что невольно ждалось впереди. Вот-вот, казалось, будет схвачена тема. Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался непонятым.

С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами: все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасным, беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдающим звукам.

*(По В. Вересаеву)*

# 81 Проснулись санитары

В лесных оврагах еще снег, тяжелый, зернистый, и земля холодная, сырая, а муравьи уже проснулись.

Рядом с тропой рыжая от глины муравьиная куча. Редко встретишь такую. А сверху на ней черная шапка, которая чуть-чуть шевелится. Это муравьи выползли на солнце, обессилели за зиму, назяблись. Вот отогреются немного и сразу за работу примутся: лечить наши леса от болезни. Не зря и зовутся лесными санитарами. Их удел – делать добро на земле. Вот почему во многих странах к ним такое уважительное отношение: их завозят издалека, огораживают муравейники, берегут. А мы – нет.

Когда-то на березовом выступе, недалеко от богдановского дола, было целых пять муравейников. А еще тот выступ любили белые грибы. С годами здесь стало больше и больше людей. И, те кучи то и дело разоряли. Они, правда, не умирали, но уменьшались, слабели. А в последнее лето косили рядом дол, а тут, в холодочке, отдыхали. И перед тем как уйти, развели на тех кучах костры. Пять костров, по количеству муравейников.

Потому так мало в наших лесах муравьиных городков. Я встречал мертвые гнезда под шапкой удобрений, под разбитыми бутылками.

А прошлой осенью даже плясали на муравейнике и все истоптали. Казалось, все тут уничтожили. Но вот пригрело солнце, и с краешков начали выползать наверх уцелевшие муравьи. Как люди в войну после страшных бомбежек и разора возвращались в свои разрушенные деревни. И уже не греются на солнце, знать, не до этого. А суетятся, двигаются, строятся, таскают травинки, хвоинки, крошки коры. И так будут трудиться все лето, не зная отдыха, восстанавливая свое жилье. Неужели снова у кого-нибудь поднимется рука обидеть их?

Проснулись лесные санитары, чтобы делать людям добро.

# 82

Дождь – не от слова ли «даждь»? Дай, подай, подари. Дождь, дожди, дождичек, задождило. Обложные дожди. Накрапывает, моросит, льет как из ведра. Теплый ночной дождичек – открыть окно – шуршит в крапиве, в листве деревьев… А то еще совсем прозаическая фраза из школьного учебника для четвертого класса: «Круговорот воды в природе».

Эта казенная фраза всегда была для меня исполнена глубокой поэзии. Когда я повторял ее то про себя, то вслух по несколько раз, мне казалось, что этой фразой можно назвать книгу стихов, поэму. «Круговорот воды в природе, круговорот воды в природе», – твердил я, и одновременно рисовались мне сквозь стеклянную прозрачность слов (как одновременно мы видим, что лежит за большим стеклом витрины и что на нем отражено) белые кучевые облака, плывущие, словно паруса, по синему летнему небу. Потом начинает синеть, темнеть, наливаться лиловой чернотой один край неба, начинает тянуть оттуда прохладой и влагой, свежий ветер неожиданными короткими порывами тревожит листву. И вот уж половина небесной сферы занята нависающей и как бы несущей угрозу тучей, и начинают ударять молнии сверху вниз, и первые крупные капли свертываются в шарики в дорожной пыли, прежде чем хлынет, освежит, напоит, омоет, потечет ручьями, засверкает лужами, засветится на траве и листьях, после того как туча уже прошла над нами и поливает теперь земли других деревень и сел. Начинает все куриться легким парком, испаряется, обсыхает, возносится кверху. Круговорот воды в природе…

Вода журчит ручьями, грохочет водопадами, горными реками (талые ледниковые воды), бухает океанскими прибоями. Отражает небесную твердь и землю лесными озерами, большими прудами, тихими омутами, отстаивается глубоко в недрах неведомыми нам подземными хранилищами воды, размеренно капает за веком век с причудливых сталактитов в пещерах, выбивается к солнцу родниками, ключами, голубеет и зеленеет айсбергами, выпадает на зеленые растения то инеем, то росой… Но при всем разнообразии форм и движений земной воды есть у нее два неотвратимых пути: подняться вверх, в небо, и пролиться опять на землю. Конечно, прежде чем пролиться, поплавает облаками и тучами, где обнадежит, а где, возможно, и напугает.

Однако в наших местах, в средних, как говорится, широтах, как бы угрожающе ни нависала туча, какой тревоги ни внушала бы нам, жителям средних широт, не боимся мы ни грозы, ни

дождя, знаем, что ни тропических наводнений, ни тайфунов не принесет нам туча. Дождь у нас почти всегда благо. И боимся мы воды не в грозных и грохочущих проявлениях, а скорее в виде мелкого и занудного ненастья.

*(По В. Солоухину)*

# III раздел Комплексные диктанты

# 1 Воробышек

Уставшие, мы присели отдохнуть на скамейку. Наше внимание привлек маленький воробьишка – он слетел с ветки на землю к большому куску вафли. Клюнул, приподнял в клюве, но разломить не смог.

Налетело еще несколько воробьев. А он, удерживая лакомый кусок, подлетел с ним к большой серой воробьихе и отдал ей добычу. Сам же стал трусить крылышками около нее, словно прося покормить. Воробьиха поняла, расклевала вафлю, дала малышу несколько крошек.

Вдруг показались голуби. Воробьи почти все разлетелись, а наш маленький герой и не подумал давать деру. Он возмущенно и деловито расхаживал рядом и, когда голубь схватил вафлю, наш воробьишка выхватил у него кусок буквально из клюва и отлетел в сторону.

Но и тут не повезло! Откуда ни возьмись появился другой такой же желторотый задира, вцепился клювиком в вафлю с другого конца. Тут уж обида нашего малыша перешла все границы! Он, прочно держа свой конец вафли, стал лапками и крыльями бить захватчика. Тот повторил его движения. В конце концов вафля разломилась, и каждому птенцу досталось по кусочку.

А я все удивлялась настойчивости, сообразительности и храбрости маленькой птички.

# 2 Торопливый май

Обычно считают июнь месяцем-скороходом. Это так. Но и май тороплив, ничего не скажешь. Не сходи неделю в лес и не узнаешь его.

Это ведь только с молявинского холма кажется, что кругом лишь половодье зеленой листвы. А спустишься вниз – в долах и оврагах, на лугу и склонах ждет тебя множество открытий. Увидишь не только молодую листву в сверкающей росе, но и первые луговые цветы, наслушаешься вволю птичьих песен, да таких, что сердце зайдется от радости.

Совсем недавно среди голых деревьев была приметна лишь ива с шапкой крупных серебристых почек, цвела вовсю медуница, а на солнечном склоне, напротив редких сосен, грелись фиалки-недотроги. Их было так много, что они все не уместились на склоне, спустились вниз, окрасив закраешек луга в фиолетовое.

Сейчас же леса загустели, и опять не видно из-за рябин и ветел шепелевских крыш. Отгорели алые маковки медуницы, осыпаются ее последние синие лепестки. А на ее месте уже полным-полно сныти.

Лесные тропы еще отдыхают от наших ног, поросли травой, наивно полагая, что, может быть, этим летом люди дадут им покой.

Иду узким коридором орешника. Все как надо: и липки распустились, и орешник, внизу поднимается дягиль. Но чего-то не хватает. Ах, вон оно что. Листвы наверху недостает. Здесь много молодых кленов, а у них лишь на верхушке появились махонькие листья. Потому и светлее у тропы.

Спустился к протоке. Осенью здесь вырыли большой котлован, и вся вешняя вода осталась в долине, затопив всю пойму. На мели, в теплой воде, кричат без умолку лягушки, на мокром лугу у Лаврентьева дола гуляют длинноногие кулички, которых здесь встретишь не каждую весну. Чуть дальше с воды поднялись утки. Сделали два круга и снова сели на прежнем месте. Ближе к плотине поселились чибисы. Тоже давно их тут не было. Теперь будут спрашивать грибников: «Чьи вы? Чьи вы?»

А уж песен в лесу! Они и справа, и слева, и над головой: птицы любят наши светлые леса. Их самих не видно, вот и кажется, что это распелись березы. А еще каждое дерево выставило свои листья напоказ: чьи лучше. А они все хороши: бархатистые и лаковые, резные и зубчатые, мелкие в полоску и крупные в ладонь. Только вот дубы медлят, все еще боятся утренних заморозков.

По лугу же – золотистые россыпи одуванчиков, и одна россыпь ярче другой. Некоторые одуванчики, что посмелее и пофорсистее, успели найти и серебристые шапки. А в тени, у воды, уже красуются купавки тугими золотистыми бубенцами.

А росы какие! Уже полдень, а пол-луга, что ближе к лесу, еще в них. Иду по траве, а на ботинки, на ранты, так и набегают жемчужные бусинки. Надо же: и на ботинках роса. Вряд ли только донесу такую невидаль до дома.

Да, май торопится. Не успела отцвести черемуха у протоки, как заневестились дикие яблони в Микешином долу, вот-вот раскинет лепестковую накидку калина у Вастромки, зацветут ясени, затучнеют травами луга, зашепчутся, загудят, заблагоухают настоящим летом.

# 3 Лебедь

Лебедь по своей величине, силе, и красоте, и величавой осанке давно и справедливо назван подлинным царем всего подводного птичьего мира. Белый как снег, с блестящими небольшими глазами, длинношеий, он прекрасен, когда невозмутимо спокойно плывет по темно-синей зеркальной поверхности воды. Но все его движения преисполнены безыскусной прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, нырять, как заправский пловец, залихватски плескаясь своими могучими крыльями, далеко распространяя брызги воды; распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, и начнет беспрестанно носом перебирать в нем каждое перышко, проветривая и суша его на солнце, – все непостижимо живописно и величаво в нем.

Лебединых стай я не видывал в тех местах Оренбургской губернии, где я постоянно охотился и где мне не раз встречались косяки других птиц: лебеди бывают там только пролетом. Однако бывает и так: нескольким лебедям, пребывающим в холостом состоянии, понравится привольное место неподалеку от моей дощатой времянки, и они, если только не будут отпуганы, прогостят в течение недели, а то и более.

Откуда они прилетают и куда улетают – я не знаю. Однажды их гостевание продолжалось три месяца, а, может быть, было бы и более, пока не случилось пренеприятнейшее: местный старожил, не кто иной, как объездчик нашего участка, убил одного наповал для пуха, непревзойденные достоинства которого известны нам.

В большинстве старинных песен, особенно в южнорусских, лебедь преподносится как роскошная, благородная птица, никогда не бросающая собратьев по стае в несчастье. Обессилевшие, обескровевшие, они будут отчаянно защищать других. Лебеди не склоняются даже перед непреодолимыми препятствиями.

Небезызвестна их недюжинная сила. Говорят, что, если собака бросится на детей лебедя или кто-то приблизится к нему, легкораненому, он ударом крыла может прибить до смерти. Так же, как и в песнях, незыблемо прекрасен этот образ и в сказках. Воистину легендарная птица!

# 4 Встреча с кукушкой

Стою однажды на краю разлившейся во весь луг протоки, заслушавшись песней трясогузки: «Цити-цюри… Цити-цюри…» Позавидовал, что так немного надо птице для счастья: майское солнце и веточка калины у воды. И вдруг… где-то совсем рядом кукушка. Я лихорадочно ищу ее глазами – вот она, почти над головой, на голой ветке дуба, что висит над водой.

Я вижу ее всю и не свожу глаз. Она быстро смолкла и уставилась вниз. Неужели мы глядим в глаза друг другу? Я с нетерпением жду таинства рождения кукушкиной песни. «Ну-ну, запой хоть раз», – мысленно прошу ее. Недолго пришлось ждать. Вот опускаются вниз крылья, хвост чуть поднимается кверху, и чудо: понеслось по синей глади протоки и дальше по долу ее волшебное: «Куку… Ку-ку…»

Хорошо вижу, как при каждом звуке она вытягивается вся вперед, как двигается ее пепельно-серое горлышко и подрагивает длинный хвост. Вижу и чувствую себя счастливым от этой простой встречи с лесной птицей. Но она чутка, догадывается, наверное, о присутствии человека. Потому прокукукает раз пять и снова глядит вниз.

Четырежды бралась она за песню, на все стороны прокуковала, всех известила. Ее хвост перемещался то вправо, то влево. Никто ей не откликнулся, никто не прилетел на ее зов. И стало жалко, что она так одинока. Не об этом ли ее песня-печаль?

По-прежнему не двигаюсь. Муравьи с кучи, что неподалеку на склоне, облепили мои ботинки, ползают по брюкам, я их чувствую на ногах – сейчас станут кусать. Но креплюсь ради этой кукушки, боюсь даже переступить с ноги на ногу: нельзя, спугнешь. Потом жди, когда еще такой случай представится.

И, вдруг глянул на воду. Она чистая-чистая, с луговым донышком с краю. Вижу я там кукушку. Вот чудо, так чудо: две кукушки – одна надо мной, другая – в воде. Может быть, она смотрит вниз не на меня вовсе, а любуется своим отражением? А в воде она еще лучше: грудь и брюхо еще белее, а поперечные полосы на них кажутся совсем черными. А может, вообразила, что в воде и в самом деле еще одна кукушка, только молчаливая такая, не откликается.

Раз десять бралась она куковать. И не дождавшись ответа, пролетела низко над водой и села в лесу через протоку. И там, на противоположном березовом склоне, поселила новую сказку.

Я слушал ее и оттуда, и мне почему-то казалось, что это вовсе не любовный зов, а покаяние лесной грешницы перед птицами за

все обиды, что принесла им. А может быть, это только показалось?

# 5

Длинной блистающей полосой тянется с запада на восток Таймырское озеро. На севере возвышаются каменные глыбы, за ними маячат черные хребты. Весенние воды приносят с верховьев следы пребывания человека, рваные сети, поплавки, поломанные весла и другие немудреные принадлежности рыбачьего обихода.

У заболоченных берегов тундра оголилась, только кое-где белеют и блестят на солнце пятнышки снега. Еще крепко держит ноги скованная льдом мерзлота, и лед в устьях рек и речонок долго будет стоять, а озеро очистится дней через десять. И тогда песчаный берег, залитый светом, перейдет в таинственное свечение сонной воды, а дальше – в торжественные силуэты и причудливые очертания противоположного берега.

В ясный ветреный день, вдыхая запахи пробужденной земли, мы бродим по проталинам тундры и наблюдаем массу прелюбопытных явлений: из-под ног то и дело выбегает, припадая к земле, куропатка; сорвется и тут же, как подстреленный, упрет на землю крошечный куличок, который, стараясь увести незваного посетителя от гнезда, тоже начинает кувыркаться у самых ног. У основания каменной россыпи пробирается прожорливый песец, покрытый клочьями вылинявшей шерсти, и, поравнявшись с камнями, делает хорошо рассчитанный прыжок, придавливая лапами выскочившую мышь. А еще дальше горностай, держа в зубах серебряную рыбу, скачками проносится к нагроможденным валунам.

У медленно тающих ледничков начнут оживать и цвести растения, первыми среди которых будут розы, потому что они развиваются и борются за жизнь еще под прозрачной корочкой льда. В августе среди стелющейся на холмах полярной березы появятся первые грибы, ягоды – словом, все дары короткого северного лета. В поросшей жалкой растительностью тундре тоже есть свои прелестные ароматы. Когда наступит лето и ветер заколышет венчики цветов, жужжа, прилетит и сядет на цветок шмель – большой знаток чудесного нектара.

А сейчас небо опять нахмурилось и ветер бешено засвистел, возвещая нам о том, что пора возвращаться в дощатый домик полярной станции, где вкусно пахнет печеным хлебом и уютом человеческого жилья. Завтра начинаются разведывательные работы.

# 6 Прилетела Жар-птица

На днях в наших перелесках еще одной радостью стало больше: заявились иволги, не задержались с прилетом. Значит, сейчас все птицы дома.

Иволга – самая красивая птица. Она всем взяла: и пером, и песней. Да и зовется нежно, любовное что-то в этом слове, близкое к Волге-реке и к иве-ивушке. Недаром и вошла в наши народные сказки как Жар-птица. И в самом деле: летит она, ярко-желтая, золотая с черными крыльями и рубиновыми глазами. Ну чем, скажите, не Жар-птица из сказки? А какие песни поет! Чистые, звонкие, переливчатые: фю-тиу-лиу. А все, наверное, потому, что сначала она тихо прощебечет, пропоет еле слышно про себя, а уж потом и на весь лес выплеснет на радость всем свою красивую трель.

Особенно чиста ее песня утром, она под стать росистому лугу и свежему воздуху, еще не согретому солнцем. Так и ждешь, что ей вот-вот ответят песней оба березовых склона. Да, если сказку в лесу рождает кукушка, то настоящую музыку все-таки – иволга.

Это очень осторожная птица. Она и прилетает всех позднее, когда уже листва густая, непроглядная, и перелетает только поверху, над деревьями, и гнезда вьет на самых верхушках. Потому и редко ее увидишь. Но уж если придется увидеть, запомнишь на всю жизнь. Мне посчастливилось ее видеть. Впервые это было в костромских лесах, в любимых местах А. Н. Островского. Тропинка от Галичского тракта нырнула в лесную глушь, в мокрую малину и вскоре привела в залитую солнцем Ярилину долину, окруженную сосняком и молодыми березками.

Чуть в стороне голубой ключ. Вода в нем и в самом деле голубая и такая чистая, что видны на дне пульсирующие в песке роднички. А может быть, это не роднички вовсе, а бедное Снегурочкино сердце? Ведь на этом месте она, по преданию, и растаяла. Мы загляделись в голубой омут, и вдруг кто-то из ребят неожиданно крикнул: «Жар-птица!» И оторвавшись от колодца, все увидели, как перелетала сказочную долину золотая птица. А вскоре и песню ее услышали. Потом нетерпеливо ждали, что чудо повторится. Но не повторилось. Да иначе оно бы и не было чудом. Вот и осталась красивым воспоминанием эта солнечная птица из сказки.

Еще видел ее в Великих Сорочинцах, на Полтавщине. Мы ночевали с ребятами в старенькой деревянной школе, в стороне от села, где много тишины и тополей. И утром, когда умывались во дворе, видели, как иволга несколько раз улетала и снова

садилась на школьные тополя, а потом долго звала своей песней кого-то.

А однажды в таремских перелесках она перелетала с одного березового склона на другой прямо над моей головой. И последняя встреча с ней была в амачкинских лесах: она сама осторожно подкрадывалась на мой свист. Знать, и вправду поверила.

Только четыре встречи за всю жизнь. А сколько от них радости. Они и сейчас волнуют, как только заслышу в лесном долу ее звонкую и переливчатую трель: «Фю-тиу-лиу…»

# 7 Начало грозы

Еще только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжелого зноя, каким дышит июльский день. Раскаленный воздух едва-едва колышется над немощеной песчаной дорогой. Еще не кошенная, но наполовину иссохшая трава никнет и стелется от зноя, почти невыносимого для живого существа. Дремлет без живительной влаги зелень рощ и пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в полудремоте неугомонный кузнечик. Ни человек, ни животное, ни насекомое – никто уже больше не борется с истомой. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы, овладевшей ими, непобедима и непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя по-прежнему и как ни в чем не бывало пляшет без устали в пахучей хвое. На некошеных лугах ни ветерка, ни росинки. В роще, под пологом листвы, так же душно, как и в открытом поле. Вокруг беспредельная сушь, а на небе ни облачка.

Полуденное солнце, готовое поразить каждым своим лучом, жжет невыносимо. Бесшумно, едва приметно струится в низких берегах кристально чистая вода, зовущая освежить истомленное зноем тело в прохладной глубине.

Но отправиться купаться не хочется, да и незачем: после купания еще больше распаришься на солнцепеке.

Одна надежда на грозу: лишь она одна может разбудить скованную жаром природу и развеять сон.

И вдруг впрямь что-то грохочет в дали, неясной и туманной, и гряда темных туч движется от юго-восточной стороны. В продолжение очень короткого времени, в течение каких-нибудь десяти-пятнадцати минут, царит зловещая тишина и все небо покрывается тучами.

Но вот, откуда ни возьмись, в мертвую глушь врывается резкий порыв ветра, который, кажется, ничем не сдержишь. Он стремительно гонит перед собой столб пыли, беспощадно рвет и мечет древесную листву, безжалостно мнет и приклоняет к земле полевые злаки. Ярко блеснувшая молния режет синюю гущу облаков. Вот-вот разразится гроза и на обнаженные поля польется освежающий дождь. Хорошо бы в пору укрыться от этого совсем нежданного, но желанного гостя. Добежать до деревни не удастся, а усесться в дупло старого дуба впору только ребенку. Гроза надвигается: изредка вдалеке вспыхнет молния, слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь горизонт. Но вот солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную

сторону небосклона и скрылось. Вся окрестность вдруг изменилась, приняла мрачный характер, и гроза началась.

# 8 Шмель

Зиму шмель провел в земле, в брошенной полевой мышью норке. В оцепенении глубоком, почти равном смерти, он не чувствовал и не знал ничего зимнего – ни морозов, ни метелей, ни снегов. Когда же весной земля начала оживать, пробуждаться, начал пробуждаться и он. А будило их с землей солнце, все более яркое, высокое и горячее.

Хотя шмель и вышел из зимнего сна благодаря теплу, но его все-таки было мало, и он начал согревать себя сам, быстро сокращая мышцы груди и оставляя пока неподвижными крылья. Он разогревался, как мотор, гудел, словно в полете, и желание реального полета возникало в нем, становясь все настоятельней. Согревшись вполне, шмель захотел выбраться из тьмы и тесноты зимнего своего пристанища на свет, волю. Он начал пошевеливать своими мохнатыми, отвыкшими от движения лапками, сначала оставаясь на месте, а потом и продвигаясь понемногу вперед. Набирая силу, он протискивался, проталкивался все упорнее сквозь рыхлые комочки земли, травинки, листья полуистлевшие. И вот впереди забрезжило то, что он добровольно оставил прошлой осенью и к чему теперь чувствовал неодолимую тягу – свет. Он прибывал и рос, и шмелю нелегко было переносить полузабытый его напор, и он время от времени замирал, отдыхая и осваиваясь с новой прибавкой, порцией света.

Когда же он, наконец, вполне выбрался на волю-вольную, на свет полного уже, яростного, слепящего накала, то замер надолго. У него возникло ощущение, что он только что родился, и надо было свыкнуться с этим. И радость жизни вернувшейся он должен был освоить – она шевельнулась в нем в самый момент пробуждения и с тех пор росла и росла.

Лежа на солнце и легком ветерке, шмель прогревался по-настоящему, до самой-самой глубины своей, подсыхал, освобождался от зимней промозглой сырости. С шерстки его понемногу исчезала серость подземная, и краски проступали – золото и чернь. Уходила и тяжесть, в землю стекая, сменяясь легкостью, обещавшей полет.

Перед первой попыткой полета нужно было размяться, и шмель пополз вперед, куда придется. Время от времени он останавливался, даже на бок падал изнеможенно, и снова полз. Оказавшись на бугорке, с которого был виден склон крутой, серо-зеленый, он почувствовал, что может попробовать взлететь. Запустив «мотор» – грудные мышцы, – он работал ими долго,

гудел, все усиливая звук. Потом слежавшиеся за зиму крылья стал понемногу расправлять, расклеивать и тоже включать в работу. Их трепет был поначалу вял, неровен, но понемногу набирал и постоянство, и напор. Момент взлета, отрыва от земли приближался с неотвратимостью, и шмель радостно это чувствовал. Равновесие зыбкое, колебавшееся между тяжестью его тела и тягой вверх, держалось и держалось и вдруг исчезло. Он оторвался от земли и полетел – низко совсем, почти ее касаясь. Сил у него хватило ненадолго – лишь для того, чтобы впервые прозвучала внятно натянутая его полетом басовая, еще робкая, хрупкая, готовая вот-вот оборваться, струна.

# 9

Тихий сентябрьский день был на исходе. По лесным дорогам в гору двигались искусно замаскированные ветвями пушки и трехтонки, шли караваны груженных, по-видимому, минами лошадей. У всех в этот день было приподнятое настроение: обессилевшие за последние дни бойцы, расположившись небольшими, но плотными группками или поодиночке, наспех писали письма и, вполголоса переговариваясь, подкреплялись тушенкой.

Уже совсем стемнело и в ущелье стало холодно, когда, покинув позиции, батальоны отправились в путь. Было непонятно, как в густом лесу, при едва брезжащем свете луны, двигаясь на ощупь, люди найдут свое место в горах и приготовятся к бою. Однако командиры рот заранее изучили окрестности, и поэтому отход протекал нормально.

Неприятель, в течение ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете в открытую ринулся на нашу арьергардную роту, оставленную в теснине… Но никто из фашистов не видел, как на вершине кристаллических скал, укрытые охапками легких стелющихся растений, едва зыблющихся на ветру, расположились наблюдатели, буквально не сводившие глаз с врага.

Взволнованные долгим ожиданием, готовые стоять насмерть, лежали бойцы на скалах, а на дорогах недоступные огню шли фашисты. Опасность была настолько велика, что ни у кого не возникла мысль пренебречь ею или хотя бы приуменьшить ее.

И в эту минуту как будто раскололось небо, загрохотали пушки и минометы, тысячекратным эхом канонада отразилась в горах, и в блистающую, кристально чистую голубизну неба поднялся изжелта-багровый дым.

С хриплыми, далеко не стройными голосами, бойцы бросились врукопашную, и было хорошо видно, как по дороге суматошно, словно шарики рассыпанной ртути, метались фашисты. Только ночью гитлеровцы нащупали почти незащищенное место и, прорвав оборону, врассыпную бросились по теснине. Так закончился бой.

# 10 Цветут незабудки

Больше недели серебрился одуванчиками дол. Куда ни глянь – везде его пышные шапки. Как будто и нет других цветов. Но вот налетел дождь, не успели одуванчики спрятать свою красу и враз лишились ее. И остались лишь голые стебельки, что стыдливо выглядывают из травы. У Васильева угла весь курган в клейкой кровавой смолке, а понизу его, словно ожерельем, окружают красные клевера. Чуть дальше красуются ромашки с длинными лепестками и очень частыми, без просвета. Цветут колокольчики, мятлик, луговая овсяница. И гудит по-летнему луг. Гудит и благоухает. А тут еще пахнуло и ароматом незабудок. Неужели они? И точно: вон прижались к краешку у протоки.

Скромнее незабудок и нет цветов: пять мелких голубеньких лепесточков с золотистой точкой в середине. И все. А какую красоту дарят людям!

Я и раньше встречался с незабудками. Не забыть лесную речку Солотчу, что в Мещерском крае. Весь берег в них. И мы с ребятами осторожно перешагивали через цветы, чтобы спуститься к воде. Встречал их и около озера под Заплатином. А здесь – впервые. Может быть, это беспокойная чайка принесла в клюве семечко из Вьюхтонских лугов и уронила тут? Тогда ей спасибо за это.

Я сорвал несколько цветочков на память, добавил к ним вероники дубравной, несколько кусточков красного клевера да подорожника с нежно-розовыми шапками. И получился скромный букет. И не хрусталь под него подставил, не керамику с узорами, а простой стакан с холодной водой. И целую неделю цвели на столе незабудки. Только однажды сменил воду и подставил их под кран. Они враз посвежели, будто только что с луга, все в капельках воды, словно в утренней росе. И неделю полнилась комната тонкими запахами.

Первыми в букете отцвели незабудки и усеяли белый лист под стаканом бледно-голубыми звездочками.

# 11

Отправляя в разведку Метелицу, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда был послан взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон: Метелица покинул отряд около четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после пяти медлительных и скучных дней, – но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, тайга – в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался наконец из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей омшаника, как видно, давным-давно заброшенного людьми.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно пахло задушенными травами. Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах, стоял он минут десять не шелохнувшись, зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, невидный на темном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу.

Метелица прыгнул на седло и выехал на дорогу. Ее черные, давно неезженые колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшихся, как хребет гигантского зверя; шумела река. Верстах в двух, должно быть возле самой речки, горел костер, – он напоминал Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синей мгле, в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.

«Болото там, не иначе», – подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. Теперь он походил на мужика с поля, после германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках.

Он был уже совсем близко от костра, – вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, завторил страстно и жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень и Метелица с силой ударил

плетью и взвился вместе с лошадью.

*(По А. Фадееву)*

# 12 Осторожнее, несмышленыши!

У птиц нет более тревожной и в то же время счастливой поры, чем та, когда их потомство вылетает из гнезда и пробует крылья. Сколько гомону, суетни и крику в лесу, на лугах, в оврагах. Одни учатся летать с деревьев, другие тренируются на лугу, а то и на горе. И, полетел несмышленыш, а ни силы, ни сноровки. Только страх да любопытство. Не хватило сил, зацепился крыльями за ветки, висит, кричит. А то упадет в траву. И, мать тут как тут: что-то выговаривает, учит. А то и клювом – за промах.

Прошла неделя, и вот уже грачата летают и никак не налетаются: им все ново, они еще не ведают опасности. Вон их сколько на лугу, неуклюжих, маленьких, горбатеньких. Да только ли грачей!

На лесной дороге молоденький нарядный дятел чуть ли не задел крылом за мою шляпу: знать, не боится. А чуть дальше дрозд беззаботно пьет воду из лужицы у тропы. Ему тоже все нипочем. Я смотрю на него и думаю: сколько их поплатилось и сколько еще поплатится за свою неопытность, пока не научатся осторожности. Не зря разлетались черные вороны и все парами, парами. Зловещ и неприятен их крик. От них хорошего не жди.

Раньше в перелесках их не было. А сейчас – вон их сколько развелось. Это не к добру: ворон – страшный враг всех певчих и промысловых птиц, особенно, когда их много. Так что будьте осторожны, несмышленыши!

# 13 В лесу

Небольшая дорожка вела нас через свежескошенный луг, и мы вволю налюбовались веселым полевым пейзажем. Как только мы вошли в лес, внимание наше привлек незнакомый нам доселе знак, вырубленный на сосне. Он напоминал изображение оперенной стрелы, длиной не менее полутора-двух метров, так что оперение охватывало ствол во всю его ширину.

Приглядевшись к одной из сосен, мы увидели, что у нижнего конца стрелы там, где положено быть наконечнику, прикреплен к дереву железный колпачок, наполненный белой массой, похожей на топленое масло. Тогда память подсказала читанное в ученых книгах и даже стихах небезызвестное слово «живица».

Сегодня сосна оказалась с таким же фантастическим значком, и третья, и четвертая…

Всмотревшись в неясную далекую глубину бора, мы увидели, что все сосны, как одна, несут на себе изображение огромной стрелы. Сквозь сосны вскоре проглянули невысокие постройки, и мы, предварительно спросив у продавщицы магазинчика, сидевшей на завалинке у своего сельпо и щелкавшей тыквенные семечки, очень скоро нашли технорука.

Это был молодой мужчина невысокого роста, с малозаметными усиками, в простой, в полоску, рубахе с резинками на рукавах, в шевиотовых брюках, заправленных в валяные сапоги. Звали его Петр Иванович. Он, извиняясь за свой внешний вид, сообщил нам, что весной застудил ноги и теперь вынужден даже в жару ходить в валенках. Рассказывая, он незаметно подвел нас к домику и, смущаясь, пригласил войти. В комнате с высокой дощатой перегородкой, сплошь увешанной плакатами и картинками с видами леса, нас встретила молодая красивая хозяйка, с черными до блеска волосами и ярко-голубыми глазами. На ней было скромное ситцевое платье с какими-то замысловатыми разводами совершенно непонятного цвета. Не успели мы как следует поздороваться с ней, как она уже поставила на стол большое деревянное блюдо с вареными грибами, чашку с печенным в золе картофелем, квашеную капусту, моченые яблоки, молоко, хлеб.

Мы впоследствии несколько дней кряду с благодарностью вспоминали гостеприимных хозяев в маленькой лесной деревеньке, от которых узнали много интересного о тайнах живицы.

# 14

Есть в русском языке забытые нами слова, а они так звучны и поэтичны, что и ныне удивляют своей первозданной красотой: ополье, снежница, околица, водополица. Среди них и ополица, узкая полоска леса, отделенная от основного массива полем, а то и лугом.

Где их только не встретишь. Есть они и в наших перелесках. И каждая ополица хороша по-своему.

То это березки вперемежку с соснами у полевой дороги на Александровку, любимое место первых подберезовиков: просторно им тут, светло под солнцем, тепло. Не надо и в лес идти, если здесь пусто. Но зато каких свежих красавцев нарежешь после дождя.

Другая ополица узеньким островком врезалась в пшеничное поле. Здесь среди осин и можжевельника красуются пять подружек-берез, выросших из одного пня. По краям – стройные белоствольные красавицы, а одна из них, что в середине, прежде чем подняться вверх, изогнулась по-над землей. Потому она и ниже своих сестер и косы у нее до земли. Я люблю здесь отдыхать: сидишь на изогнутом стволе, теплом от солнца, как в беседке. И слышно в тишине, как шепчется листва над голо вой, как чуть-чуть позванивает тяжелыми колосьями пшеничное поле.

Но все-таки самая любимая – амачкинская ополица, десятка четыре берез, насквозь прогретых солнцем. С краешку от поля растет земляника, наливная, ароматная, а по лугу – колокольчики, медульник, ромашки. Вот и все. Но сколько раз дарила она мне радость, награждая белыми грибами. Со временем грибница здесь пропала, и года три не было никаких грибов. Но каждый раз я заходил сюда, хотя и был уверен, что ничего не найду. Просто тянуло, хотелось встретиться.

А в прошлом году белые грибы появились здесь снова. Их и не так много на этой маленькой ополице, но зато на солнце они тугие, тяжелые, будто литые – одно загляденье. Выскочит из рук такой здоровяк, ударится о землю и хоть бы что – жив, невредим.

Но особенно радовало то, что именно здесь появляются первые белые грибы. Вот и в прошлом году: я не думал, что они уже пошли, и пришел за аптечной ромашкой на окраину пшеничного поля. Обратно той же полевой дорогой идти не захотелось, решил возвращаться луговой тропинкой понизу. Зашел на ополицу и вдруг увидел шесть темно-коричневых крепышей. Они стояли почти рядышком, как игрушечные, будто кто-то только что их расставил под березкой. Удивился,

обрадовался и долго стоял счастливый, любуясь такой приятной неожиданной встречей. Не хотелось разрушать эту гармонию красоты, этот подарок ополицы. Потом еще встретились семеек пять.

И в этом году вчера она порадовала своей щедростью. А сегодня и не нашел ничего. Даже не поверил: ведь только вчера было счастье. Снова вернулся. И напрасно вернулся. Но заметил, когда уходил, что ополица переживает, невесело провожая меня. Соседний лес пошумливает листвой, а она нет, стоит молчаливая, задумчивая, будто виноватая. Вот и пришлось успокаивать: «Что ты, ополица. Я не держу на тебя никакой обиды. Ты же не виновата. Если бы была возможность, последние бы отдала, ничего не утаила. Знаю твою щедрость. Вон ведь ты как вчера. Наверное, только для меня и берегла все свое сокровище, будто ждала. Потому и с радостью выложила все: «Наконец-то пришел… Дождалась…» А сегодня… Что ж поделаешь. Может быть, другие тут побывали до меня. И, наверное, побывали. Им же тоже надо. Не переживай. Ну, улыбнись, пожалуйста. Не последняя же у нас с тобой встреча. Еще порадуешь. За тобой не пропадет».

И, мне показалось, что зашевелилась ее листва, зашепталась на солнце.

Вот какие наши ополицы. Разве их разлюбишь когда, забудешь?

# 15

Портреты Крамского отличаются глубиной раскрытия не только психологии, характера модели, но и ее прелести и очарования.

Поиски Крамским красоты в жизни, желание подняться над будничностью, из обычного сделать необычное, прекрасное, радующее глаз выразились в знаменитой картине «Неизвестная».

Жажда прекрасного, способность очаровываться внешней красотой, гармонией, совершенством была в художнике так же сильна, как вера в необходимость самопожертвования, как преклонение перед силой человеческого духа, перед мужеством и стойкостью характера.

Сравнивая этюд к «Неизвестной» с картиной, мы видим в его основе тот же сюжет, ту же композицию и ту же модель. Беспристрастно и объективно раскрывая характер портретируемой, Крамской не наделяет ее ни красотой, ни обаянием; женщина и чопорна и надменна, губы презрительно сжаты, глаза высокомерно прищурены. Лицо полное и чуть одутловатое.

В картине возникает совсем другой образ. Чуть изменен поворот головы – она гордо поднята, с легким как бы снисходительным поклоном повернута направо. Это придает женщине грациозность и изящество вместо сдержанной чопорности. Все черты лица тоньше, изящней, изменилось выражение больших блестящих глаз, густо опушенных ресницами. Эстетическое наслаждение доставляет виртуозная передача нежной женской руки, затянутой в перчатку, бархата шубки, плотно облегающей фигурку, страусового пера, колышущегося на ветру. Крамской тонко чувствует красоту всего этого, но искусное изображение аксессуаров не отвлекает внимания художника от внутреннего смысла образа.

Эта красивая, но малопривлекательная женщина холодна и надменна. Она очень сдержанна, замкнута, но ее властный характер не трудно разгадать и в манере держаться, и в бесстрастном взгляде глаз. Внешняя красота, изысканность женщины не скрыли ее человеческой холодности. В этом портрете Крамской воплотил определенный тип женщины, в котором красота, лишенная душевного обаяния, составляет главную черту характера.

Образ «Неизвестной», сочетающий в себе красивость и одновременно душевную пустоту, – единственный в творчестве художника, но столь интересный и значительный, что невольно

становится своеобразной загадкой, скрывающей истинный замысел художника.

# 16 Красавицы России

Однажды я попросил ребят из пятого класса написать о русской березе. И они почти ничего не написали, хотя и видели ее чуть не каждый день. И больно стало за ребят. Но это не их вина, а наша, что не развиваем наблюдательность, обедняя их духовный мир.

Береза – издавна любимое дерево России. Ее и называли ласково березкой, березонькой, а то и красавицей, подружкой. У нее не ветви, а зеленые кудри да шелковистые косы; в Троицын день наряжали, как невесту, пели ей песни, водили вокруг хороводы.

От нее пошли и названия городов, деревень, рек: Березовка, Березов, Подберезье, Березники, Березань, Березина… А сколько на нашей земле живет и работает Березиных – не сосчитать. Был и месяц такой – березозол.

Много веков она бескорыстно служила людям! Шла на дрова и уголь, из бересты гнали деготь, делали легкие туески под землянику и грибы, она годилась на телеги, вилы, сани, зимой березовыми вениками парились в бане, а по весне пили березовый сок, лечились почками, листьями, чагой от недугов. Она была нужна и для души: о ней пели песни, слагали стихи. Песенное дерево России.

Она ведь всегда разная: то улыбается с утра солнцу своими влажными светлыми листьями, то сырая после холодного дождя представится жалкой сиротой, когда впереди ночь, а ей не обогреться. Жалко станет березку. Она может по-детски лепетать листвой, шелестеть ей, и разговаривать, и петь, а то вдруг зашумит в ветер, тяжко завздыхает в бурю, может часами молчать в затишье и даже задуматься, замечтаться под вечер.

Как и человек, она может радоваться, улыбаться, быть счастливой, а может и грустить, печалиться, ненавидеть, возмущаться. Понаблюдайте-ка внимательно.

А уж модница! То украсится, как девушка, сережками весной, разными-разными – золотистыми, изумрудными, сиреневыми, а зимой то оденется в иней, будто собралась под венец, то опушится с головушкой чистым снегом; в апреле же она любит кутаться то в одну метель – зеленоватую, когда лопаются почки, то в другую – золотистую, когда цветет.

Береза чиста и опрятна. Каждую зиму чистится ее береста, каждую весну все подкрашивается и подкрашивается белым бетулином.

Березовые леса любят грибы, по весне здесь услышишь

первые запевки зяблика, почками кормятся синицы и чечетки, пчелы летят сюда за прополисом, дятлы напьются первым сладковатым соком, а за густой листвой иволга скрывает от людского глаза свое золотое перо.

В березовой роще всегда светло и уютно, даже в пасмурный день и сумерки: ведь березы светятся. Недаром ими и обсаживали почтовые тракты России. Потому и наши перелески такие светлые, праздничные. В них и думы всегда песенные, радостные.

Березы зябнут в январские холода и млеют в июльскую жару, умываются дождями да росами, а подраненные – плачут крупными слезами. Они, как и мы, растут, невестятся, стареют, умирают. Береза и мертвая красивая: лежит в траве и ромашках прямая и белая, как те ромашки, вымытая ветрами и дождями.

Я очень люблю рощу, где знаю каждую березку в лицо. И замечаю, какой из них занеможилось, какая стала пышнее, какой плакать, когда пойдет березовый сок.

Во многих странах есть березы. Может быть, они там стройнее и белее, но чтобы так могли радовать, чтобы имели бы душу – не верю – нет там таких берез. Ведь наша березка – это не только наша красавица, но и частица русской души, частица нашей России.

# 17

В безветренную предыюльскую пору по извивающейся тропинке мы возвращаемся с охоты. У каждого за спиной холщовый мешочек, наполненный добычей, настрелянной в течение нескольких часов.

Охота была удивительно удачной, поэтому нас не расстраивало то, что четырех подстреленных уток собаки не могли разыскать.

Обессилев от ходьбы, мы улеглись у поваленной березы, покрытой какой-то стелющейся растительностью. Не на расстеленной тканой скатерти, а на шелковистом мху, чуть-чуть высеребренном тонкой паутинкой, разложили мы дорожные яства. Среди них были купленные продукты и не купленные в магазине домашние изделия. Маринованные грибы, поджаренная колбаса, масленые ржаные лепешки, сгущенное молоко, говяжья печенка, печеный картофель, немного вывалянный в золе, и глоток напитка, настоянного на каком-то диковинном снадобье, покажутся вкусными на свежем воздухе самому сверхизысканному гурману.

Трудно сравнить с чем-либо то очарованье и наслажденье, которое испытываешь, когда лежишь у костра, на берегу безымянной речонки в лесной чащобе.

Возникают разговоры на самые необыкновенные и неожиданные темы: о трансъевропейских экспрессах, трансатлантических перелетах, сибирских морозах, обезьяньих проделках, искусных мастерах и о многом другом.

Изредка беседу нарушают непрошеные гости: оводы и комары. По справедливости они названы путешественниками бичом северных лесов.

Легонький ветерок едва-едва зыблет травы. Сквозь ветви деревьев виднеется голубое небо, а на сучочках кое-где держатся золоченые листочки. В мягком воздухе разлит пряный запах.

Вдалеке неожиданно появились свинцовые тучи, блеснула молния.

Вряд ли нам вовремя удастся укрыться от дождя.

К счастью, вблизи оказался домишко лесного объездчика – низенькое бревенчатое строеньице. Сынишка хозяина, остриженный мальчуган, одетый в короткое пальтишко, приветливо кивал нам головой.

Отблистали молнии, яростный ливень сначала приостановил, а затем и вовсе прекратил свою трескотню.

Стихии больше не спорят, не ссорятся, не борются.

Расстроенные полчища туч уносятся куда-то вдаль.

Выйдя из дома, мы вначале следуем по уже езженному проселку, а потом по асфальтированному шоссе, заменившему прежнюю немощеную дорогу.

# 18 Три жизни

В первой своей жизни она только ела. Ползала лишь для того, чтобы перебраться со съеденного ею листа на другой, пока целый. Съедала и его, переползала на следующий, который ожидала та же неизбежная участь. Такое повторялось снова и снова, час за часом, день за днем, и в бесконечном однообразии этого чудилось что-то бессмысленное и жутковатое. Зеленые, неподвижные листья, перемолотые и проглоченные, превращались в ее плоть, тоже зеленую, но шевелящуюся, ползшую упорно к одной лишь ей ведомой цели.

Гусеница росла, конечно, но этот рост никак не соответствовал количеству поедаемой пищи. Она ела впрок, и избыток съеденного прятался, сжимался где-то в тайниках ее существа, в запасы энергии превращался, для проявления которой должен когда-то прийти свой срок. Это была великая и страшная еда, далеко превышающая потребности ее теперешней жизни, в будущее направленная, такое еще далекое. Возможно, оно мерещилась ей в неких туманно-радостных картинках, а, может, и нет.

Когда листья начали становиться жесткими и желтыми, она перестала есть и поползла уже по-иному, чем прежде, не листья меняя, а ища укромной, безопасной тесноты. И нашла ее – в щели подгнившего бревна. Наступал конец первой ее жизни, и она потянула изо рта тончайшую, упругую нить и начала наматывать ее на себя. Нить укладывалась за рядом ряд, оболочку образуя, покров, кокон. Саван, может быть. Закончив ткать его и в него заворачиваться, она замерла, оцепенела совершенно, будто умерла.

Громадное, многомесячное время ее второй жизни сначала не существовало для нее. Она находилась на грани с небытием, во тьме глубокой, да и сама была тьмой. Но вот от толчка, приказа извне или изнутри, та энергия, которую она накопила великой своей летней едой, очнулась в ней. Очнулась и начала работать – безостановочно, неутомимо, с мукой и наслаждением для нее. Ее длинное, унылое тело, покрытое коконом, стало размягчаться, расплываться, исчезать, превращаясь понемногу во что-то совсем иное. Какие-то струны натягивались в ее однообразной массе, стержни проступали, кольца замыкались и твердели. Она рождалась, творилась заново для еще одной жизни, и материалом творения была она прежняя, не знавшая ничего, кроме еды.

Кокон-саван слабел и давал разрывы от напора изнутри, и вот весь распался, наконец, и она, новая, для третьей жизни

рожденная, оказалась в древесной щели под весенним солнцем.

Она была бабочкой теперь и долго-долго сидела, прогревалась, высыхала, силой наливалась изнутри. Потом раскрыла, разлепила наконец крылья, вверх-вниз ими повела, головкой покрутила, глаза всевидящие напрягла – вся такая ясная, легкая, упругая, сложно-тонкая, родственная воздуху и небу, а не земле. Нужно было уходить в это родственно-близкое, сливаться с ним. И она полетела, и воздух с небом мгновенно приняли ее, как дочь свою, как принимали они и птиц, и пчел, и лепестки цветов на ветру.

Она не то чтобы училась летать, она вспомнила умение полета, с каждым днем бывая в воздухе все дольше. Да и не просто летала она, а танцевала танец радости и свободы, чувствуя, что в нем и суть ее, и цель. Ела она тоже легко, радостно и совсем недолго – опускалась на цветок, проникала хоботком в глубину его сладостную, пила нектар и улетала, опять сливаясь с воздухом и небом. И вся она была в этой своей третьей и последней жизни воплощенной свободой и красотой.

# 19

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенного, но, за неимением другой дичи (дело было в начале сентября), мы отправились в Льгов. Льгов – большое степное село, расположенное на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, заросший густым тростником. Здесь водилось бесчисленное множество уток. Мы пошли с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка не держится, во-вторых, наши собаки не были в состоянии достать убитую птицу из сплошного камыша. «Надо достать лодку, пойдемте назад в Льгов!» – промолвил наконец Ермолай. Через четверть часа мы, сев в лодку Сучка, когда-то господского рыболова, плыли по пруду. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха.

Утки, испуганные нашим неожиданным появлением, шумно поднимались и, кувыркаясь в воздухе, тяжело шлепались в воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Владимир, к великому удивлению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. Я, по обыкновению, – плохо.

Погода стояла прекрасная, и, ясно отражаясь в воде, белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами.

Когда мы уже собирались вернуться в село, с нами случилось неприятное происшествие.

К концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стаями, что мы едва успевали заряжать ружья. Вдруг от сильного движения Ермолая – он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край – наше ветхое судно наклонилось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем), но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться.

Часа два спустя мы, измученные, грязные, мокрые, достигли наконец берега и развели костер. Солнце садилось, и широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи.

*(По И. Тургеневу)*

# 20 Луга цветут

Первые цветы всегда яркие, чтобы привлечь к себе насекомых-опылителей: медуница, мать-и-мачеха, сон-трава. Потом все одевается в золотое: лютик, одуванчики, примулы, калужницы, чистотел, купальница. Следом за золотым новый наряд – белый: звездчатка, белая кашка, ландыши, ромашки, дягиль. А в середине июня перемешаются все краски на лугу: белые и желтые, красные и голубые, серебристые и бронзовые, малиновые и сиреневые.

Луг Марьиного дола весь в манжетках. Хотя цветки у нее невзрачные, желтовато-зеленые, но мимо не пройдешь, обязательно остановишься полюбоваться крупной и живой жемчужиной-каплей, что осталась после росы на широком, воронкой, листе. А ближе к лесу, в тени – герань, синюха и шапки дягиля: синее-синее, сиреневое – и все рядом.

Склон за Редкими соснами примулы украсили в желтое. А ниже – целое ожерелье буйно цветущей земляники.

Ближе к озеру, по низине, приютились незабудки. Их много, они так мелки и чисты, что рябит в глазах от бирюзовой каемочки у воды.

И чем дальше уходишь луговой тропинкой, поросшей мелким спорышем, тем разнообразнее цветы и травы, тем роскошнее мир лугов. Еще не отцвели подорожники, не поникли сиреневые колокольчики, не отгорели жаром одуванчики, а уже забелели ромашки, засинел дикий горошек, зажгла красные огонечки гвоздика. И засияли новые радуги над лугом. Зардели багрянцем высокие столбунцы, одевается в сиреневое мятлик, зарыжел тычинками лисохвост, а ближе к лесу, будто пояс от зари, розовая полоска соцветий раковой шейки.

Раскустилась ежа, ее колоски-мочки то еще зеленые, то уже бронзовые, переливаются на солнце, блестят. И луговая овсяница уже набирает свои зернышки-овсинки. А еще тут клевер белый и клевер красный, алая смолка и поникшая смолевка, раскидистый тысячелистник, кровохлебка, вероника.

Это уже настоящее половодье красок, а молодое лето все мешает их, мешает. Они гуще, ярче, разнообразнее. И не остановится, не успокоится никак, видно, не подберет еще необходимый колер.

Июньские росы легкие, недолгие. Быстро сушит луг. Поднимаются головки колокольчиков, выпрямляется мятлик, дрема, просыпаются шмели и пчелы, бабочки и жуки, комарики и мошки. А тут и птицы радуются, поют на все голоса. И зазвенел

луг, заблагоухал. И никак не налюбуешься, не надышишься и пряной зеленью, и медом, разлитым в воздухе. А ведь еще не цветут душица, донник и таволга, в которых так много пахучего вещества – кумарина.

Как все-таки прекрасен мир лугов во всем своем многообразии!

# 21

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями, берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, а ветер, настоянный на полевых травах, едва приметно колеблет молодую поросль, стелющуюся по карнизам крутого берега.

Задумчивая улыбка, не нарушаемая присутствием человека, лежит на всем: на синеве неба, на лениво-ласковой реке, зыблющейся под ветром, – и кажется, что эта улыбка так же таинственна, как и вся жизнь природы. Даже наполовину вытащенный дощаник, выдолбленная из дерева лодка, кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, а рыбачья избушка, приютившаяся под самым обрывом, напоминает не что иное, как старый-престарый гриб.

Из избушки вышел немолодой, но крепкий старик в холстинной рубахе, прислушался к далеким звукам колокола, которые, обессиленные расстоянием, едва доносились сюда. И двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся, и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючками и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтоб не ржавели в воде.

Чего только не видел на долгом веку старик, но он, приложив козырьком черную ладонь, долго любуется тем, как играет и колеблется нестерпимый для глаз блеск воды. Потом он берет узкое весло, лежащее поодаль, и сталкивает в воду лодку, невольно напоминая при этом большого муравья, тащащего свою добычу.

*(По А. Серафимовичу)*

# 22 Птицы-скороходы

Это не о дергачах-коростелях, которые большую часть пути в Африку и обратно преодолевают не на крыльях, а на ногах. Это о трясогузках, у которых тонкие, будто проволочки, ножки. Но побежит по траве, ни за что не догонишь, не старайся. И это она, вон-вон мелькает ее черная шапочка на голове. А уж если заметит, что вы на нее обратили внимание, загляделись, то постарается показать всю свою прыть, все свое умение: и справа налево перед вами прострочит, и слева направо просеменит, а то снова пустится прямо по тропе – побежит, побежит, побежит маленькая балеринка, покачивая длинным хвостиком. Но вдруг остановится, оглянется и снова справа налево.

А как легко бегает, будто маленькая заводная игрушечка, и так быстро, словно на ногах у нее легкие туфельки-скороходы.

Иногда же пофорсит перед тобой, потом подпустит близко-близко и вдруг легко так поднимется в воздух: нырнет в свободном полете раз-другой и снова засеменит по земле.

Сколько раз я любовался трясогузками, обходя тропой озеро, и еще не налюбовался до конца. Красива она и на веточке талины у воды – сядет, качнет хвостиком и застынет, как изваяние – всю свою красоту покажет: черная атласная грудка и хвост, а по бокам его белые полоски, да еще такие же на крыльях. И щечки белые. А рядом две черные бусинки беспокойных глаз.

Но ей не сидится спокойно. И вот уже полилась над озером, над низкими тальниками ее простенькая звонкая трель: цити-цюри, цити-цюри.

Слов нет, красива она у воды, на кустике тала, легкая, грациозная, но все-таки на тропе, когда бежит по ней, лучше.

# 23 Глухариный ток

В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится запах прелых листьев и оттаявшей земли.

Впечатления, связанные с весенней охотой на глухарей, неизгладимы в моей памяти. Еще совсем не рассвело, и над спящим лесом плывет прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый шорох и шепот. Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, затянувшая неглубокое, но широкое болотце, и снова тишь.

Когда идешь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься: хочется в срок добраться до места тока, когда глухарь еще не начинал своей песни. Внимательно слушаешь, и вдруг неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый крик. Вскоре ему отвечает другой – и на болоте начинается звонкая перекличка. Напряженно вслушиваешься в лесную мглу, поминутно взглядывая на стрелки часов.

На востоке, в глубине леса, между верхушками деревьев брезжит почти незаметный свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться.

Но вот уже в дали лесной слышатся неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни. Характерное щелканье, щебетание слышится из отдаленной чащобы и наполняет предрассветную лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками.

Предоставьте время глухарям распеться, и тогда можете медленно и осторожно передвигаться в ту сторону, откуда виднеются первые отблески утренней зари и наиболее громко доносится песня глухаря. Передвигаться нужно как можно осторожнее, иначе приблизиться к птице вам не удастся. Стоит только глухарю замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. Запоет глухарь – снова двигаешься к месту глухариного тока, где опять отчетливо слышится звонкая трель. В алом свете зари глухарь кажется массивной точеной фигурой из черного дерева. Лишь чуть заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что это не мертвый предмет.

# 24 Утром

Росы в июле обильные, так и окатывают с каждой травинки. Даже листья клевера и луговицы влажные, в испарине; намокли и лепестки ромашек, листья же орешника и молодых осинок все в воде. Иду луговой тропинкой, на которую склонились сырые кисти мятлика, и сбиваю росу впереди себя корзиночкой, которая еще пуста. Но все равно мои брюки до колен стали мокрыми, тяжелыми. И корзиночка вся в воде, будто ее окунули в речке. Перехожу через дол на солнечные склоны, где уже обсыхают травы. Но в низине – тимофеевка и ежа по плечо, вот и иду долиной, как вброд по глубокой речке. Уже и покаялся, что решил переходить на эту сторону. Но вскоре здесь, на березовых холмах, я напал на белые грибы, свежие, еще прохладные, со скользкими, упругими шляпками. Грибники поймут эти счастливые мгновения.

Ради них и еще раз можно пересечь этот сырой луг, еще раз намочиться до плеч: солнце высушит, и все неприятности враз забудутся. А вот грибных радостей хватит до самого дома.

За грибами люблю вставать пораньше: если это в сентябре, то со звездами, когда в деревне еще спят, окна в домах занавешены и глядят на улицу малиновыми глазами гераней. Спят тропинки, отдыхает дорога. Только лес уже проснулся, распелся.

А на днях радость доставил легкий туман, что одел в голубое лесные долы. И кажется, что и березки выросли из него, из тумана. Над протокой он поднимается, и видишь, как и под водой ходят легкие шелковистые волны. А там, где уже нет тумана, в спокойной воде отражаются травяные берега, а березовый окоем перевернулся, как в зеркале. И, чудится, что под водой и не березы вовсе, а роскошные зеленые терема, и хочется нырнуть в это сказочное царство, чтобы разузнать, что и как.

А еще хочется посидеть у этой сонной воды и поделиться с ней секретами. Ведь восточное поверье утверждает, что даже сны, если их рассказать воде, обязательно сбудутся.

# 25 Июльские грозы

Июльские грозы величественные, грозные. Особенно это испытываешь в лесу, встретившись с ними один на один.

Утро предвещало дождь, сильно пахли травы, долго не раскрывались цикорий и вьюнок, в воздухе стояла духота. Но, надеясь вернуться до дождя, я все-таки ушел в лес! Гроза собралась быстро. Сначала засинелось где-то далеко, там же глухо погромыхивал гром. Потом эта синева ушла на запад. Но вскоре небо над головой стало вдруг заволакивать тучами, они кудрявились, мешались, росли. Заморосил дождь, потом припустил посильнее. Дождевые струи, упругие и стремительные, словно прошивали землю насквозь. Но дождь вскоре перестал, видно, решил передохнуть, чтобы ударить с новой силой. В лесу же потемнело, ничего не видно. И он весь притих, даже не дрогнет осиновый лист. Попрятались, присмирели птицы, бабочки, жуки, мошки, склонились травы. Все замерло в ожидании чего-то недоброго. И тут стремительно налетел ветер, а с ним молнии и дождь. Ветер терзал вершины берез, гнул их, ломал пополам большие осинки, сосны. Молнии слепили глаза, гром разрывал лесную темноту, заглушал шум леса. Дождь обрушился такой лавиной и с такой силой, что диву даешься, как такая масса его удерживалась в тучах. Вот уж действительно – разверзлись хляби небесные. И не спрячешься ни под каким деревом: вода с веток окатывает с головы до ног, она бежит ручьями по стволу. Уже течет с лица и головы, водой полнехоньки карманы. Ягоды в корзиночке размокли. Мокрая одежда холодно прилипает к телу.

А молнии освещают и освещают темень, гром настолько оглушающе разрывчатый, что кажется: разнесет сейчас и этот лес, и весь дол. И, стоя под беззащитной березкой, невольно думаешь о могучей силе природы. Сколько в ней, матушке, заключено ее, этой силы, сколько в ней доброты и гнева.

Но вот молнии стали реже и слабее, промежутки между ними и громом все больше. Дождь приутих. Гроза уходила.

А вскоре он и совсем перестал. Небо сразу очистилось, засияло солнце, и лес, умытый дождем, заблестел, зарадовался каждой березкой, каждым листком.

Все колеи и канавы полны воды. Шумит мутными ручьями дорога. Но земля вокруг уже задышала вольготно и легко, все распахнулось навстречу солнцу, все посветлело, умылось, все радуется. И травы снова тянутся вверх, хотя дождевые бусинки серебрятся еще на каждом листочке, они нанизаны по всему

стебельку луговой овсяницы. Вылетели из укрытий на солнце птицы. Сушатся, рады-радешеньки, а иволга снова огласила дол своей чистой трелью.

И настроение такое, что впору снова вернуться в сырой и потому пока неуютный лес, будто и не было никакой грозы, будто и не промок до нитки.

# 26

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево – серый неуклюжий столб с широкой дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было что-то написано.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом и точно ласкающим, но вместе беспощадным голосом, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется.

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как я очутился здесь, под открытым небом на берегу плещущейся речонки, в соседстве этого шалаша.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, страстные религиозные споры беспоповцев и скитников. Мне вспомнились утомленные лица миссионеров и священников, кучи книг на аналое, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодности этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, – поплелся восвояси. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берега Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом города. Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей свечи, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью.

Солнце уже встало над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

*(По В. Короленко)*

# 27

Клин шел высоко, в безоблачном, чуть пропотевшем от весенних испарений небе. Он изгибался по-живому прихотливо, стороны свои то удлиняя, то укорачивая, угол из острого в тупой превращая, почти в линию волнистую вытягивался, но снова и снова находил главную, сутевую форму – наконечника летящей стрелы.

Клонящееся к закату солнце светило журавлям в левое крыло, левый глаз слепило, справа облачком маленьким, тонким, круглым висела полная почти луна, а внизу земля наплывала медлительно и уходила назад, назад.

Лететь впереди было труднее, и поэтому журавли постоянно менялись местами. Только вожак не позволял себе этого, все время держась первым. Соседи, правый и левый, отставали чуть-чуть, и он мог видеть их головы и напряженно вытянутые шеи.

При попутном ветре до него доносился шум крыльев стаи, а на поворотах он видел и ее всю. Она представлялась ему тогда одним громадным журавлем, головой которого был он сам.

Весь день вожак летел с предельным почти усилием, потому что внизу, на земле, потянулись хорошо знакомые, записанные в памяти, места. Он постоянно сверял то, что видел, с этой записью, отмечая радостно – все верно, все так. И каждый момент узнавания, совпадения возбуждал, подталкивал увеличить и без того высокую скорость. Несколько раз, не удержавшись, он делал это, но тогда начинал рваться клин. Самые слабые отставали, кричали жалобно и укоризненно, и вожак бывал вынужден замедлить полет.

Во второй половине дня земля под крылом пошла известная сплошь, до мелочей. Вожак угадывал каждый изгиб реки, по-над которой они летели, каждый ручей, в нее впадавший, каждую старицу в широкой пойме. От этого подробного узнавания ему чудилось порой, что земля поднимается едва уловимо, сама идет им навстречу.

Вожаку очень хотелось успеть домой, на озеро-старицу, сегодня. Когда же внизу показалась крутая, до полного почти круга сведенная излучина реки, он, прикинув ход солнца до горизонта, понял, что это возможно. Нужно лишь наддать из последних сил.

Он весь подобрался, осмотрев, проверив себя как бы и снаружи, и изнутри. Потом полет замедлил, силу души подготавливая – и затрубил! В долгом крике его была и радость ликующая, и призыв, и приказ.

Стая отозвалась, поддержала, и в крике ее переливчатом и еще более долгом та же радость ликующая была и готовность к последнему усилию.

Вожак наддал, влег в нарастающую упругость воздуха, как в хомут. Чаще и размашистее заработали крылья, свой шорох и посвист усилив, шея напряженнее вперед вытянулась, а ноги назад. Он в стрелу превращался, стрелу, гудящую от жажды цели.

Но и долг свой вожак не забывал, однако. Оглянулся раз, другой – в правом крыле стаи разрыв возник, отставали два журавля. Затрубить с прежней силой он не мог теперь, но прокричал все-таки, как сумел: давай, не отставай! Скорость же полета так и не снизил, потому что об отставших журавлях можно было не беспокоиться – дом совсем близко, сами дорогу найдут.

А дом и впрямь приближался все ощутимей, возникали и скрывались места, где они часто бывали прошлым летом в поисках корма да и так, для удовольствия полета: речушка, со змеиными изгибами к реке бегущая; ручеек, едва заметный среди кустов густых, два озерца рядом, круглых и синих, как глаза.

Вот и дом их, длинное и узкое озеро-старица, мелькнул вдали и пошел-поплыл навстречу, приближаясь с каждым взмахом крыльев. Здесь провели они кто лето одно, а кто и пять и шесть. Вожак притормозил, чтобы собрать сил остатки, и, пересекая береговую черту озера, затрубил. Стая поддержала его разноголосо и дружно. За весь путь долгий-долгий это был главный крик, и звучала в нем одна лишь радость: дома мы! Дома!

Стая сделала над озером приветственный круг. Оно лежало внизу, зеркально-спокойное, среди низких, поросших камышом и осокой берегов. Журавлям казалось, что именно таким оно и ожидало их все долгие месяцы разлуки. Замкнув круг, вожак пошел еще на один, шире гораздо, оглядывая заболоченную, всю в мелких озерцах, пойму. Здесь вот они поживут стаей недолго, а потом разлетятся парами вверх и вниз по реке. К концу же долгого и прекрасного лета снова начнут понемногу слетаться сюда с молодняком и опять сбиваться в стаи. А стая будет и старой, вот этой, но и новой уже.

На третьем круге, опять вдоль берега, вожак выбирал место для посадки – чтобы и болото было, и островки твердые на нем. Развернув крылья, он пошел вниз-вниз, а за ним и вся стая. Один за другим журавли, выставляя вперед черные, длинные, как трости, ноги, встречали ими землю и пробегали несколько шагов, чтобы погасить инерцию полета. А кое-кто и долго бежал, для одного, возможно, удовольствия.

# 28

Общая квартира Мечиславского и Остроухова состояла из двух комнат. Первая темная комната была обращена в прихожую, а светлая – в спальню.

Светлая комната была замечательна простенками необыкновенной ширины, как будто бы предполагали строить замок, а не двухэтажный дом. В громадном простенке стоял большой стол с зеленоватым маленьким самоваром. На круглом ржавом подносе, с маленькой решеточкой кругом, стояли два стакана. Напротив стола, у стены, находился массивный турецкий диван, обтянутый тиком, во многих местах разодранный, откуда виднелась другая материя. За диваном, у печки, стоял маленький простого дерева комод с рассохшимися ящиками и тут же маленький туалетный ящик с зеркалом.

По другой стене тянулась длинная кровать с коротенькой периной и кожаными подушками, напоминавшая детей, выросших из своего платья. Возле кровати – разложенный стол, на нем запыленные роли, парики, бритвы, – все пересыпано табаком и пылью.

Остроухов даже не имел зеркала, а какой-то кусочек, обделанный в пеструю бумажку.

Противоположная стена от двери до окна была завешана разного рода платьями: тут висел французский кафтан с блестками, греческая рубашка, испанский плащ рядом с засаленным халатом, шубой и другими платьями.

Когда Остроухов возвратился домой, он застал Мечиславского лежащим на диване с ролью в руке. По нахмуренным бровям и взглядам исподлобья можно было догадаться, что Остроухов чем-то недоволен. Его умное лицо, разрисованное морщинами, имело обычное выражение утомления и грусти. Но Мечиславский не обратил внимания на своего друга: он слишком был погружен в свои мысли. Наконец он окликнул его после долгого молчания, и тот так вздрогнул, что роль выпала у него из рук. Мечиславский пугливо посмотрел на своего товарища и покачал головой: «Нехорошо, братец! На меня нечего смотреть, что я своей роли не знаю: память стала слаба. А вот ты, ты другое дело. Придется тебе смотреть на свою возлюбленную и в то же время подставлять ухо к суфлеру. Не годится, братец!»

Мечиславский, как пристыженный школьник, громко стал читать свою роль.

*(По Н. Некрасову)*

# 29 Тетеревенок

Прошлогоднее лето было сырое, холодное, и многие птичьи кладки погибли. Гибли от холодов и уже высиженные птенцы. Потому и редко встречались выводки куропаток у сосновых посадок и тетеревов в перелесках. А если и встречались, то небольшими семейками.

Такую и я встретил июльским днем под Александровкой за песчаным карьером, в канаве, поросшей густой травой. Глава семьи, черный красавец с хвостом, изогнутым «лирой», шумливо поднялся чуть ли не из-под ног и улетел. Тетерка же поднялась не сразу, а сначала покувыркалась у ближних кустов, чтобы отвлечь мое внимание на себя, ведь внизу остался запутавшийся в высокой траве тетеревенок.

Мне бы надо уйти, оставить их тут. Но любопытство-то! Я прижал траву палочкой, а потом взял в руки уже не рыженького, а серого, как мать, тетеревенка: теплый, мягкий, глаза большие, испуганные. Он не вырывался из рук, не бился, а только кричал, призывал на помощь мать. А та летает над головой низко-низко, квохчет, стонет, будто раненая: то сядет тяжело на ветку орешника, но не сидится, и снова крутит над головой. Мне показалось, что ее глаза уставились на мои руки. Летала она так низко, что можно было достать ее палочкой. Такая уж у птиц материнская жертвенность. И тетеревенок продолжал отвечать матери. А уж сердечко бьется, будто в руках и не птица, а только одно испуганное сердце.

Посмотрел еще раз в глаза своего пленника, потом подбросил его кверху, чтобы ему было легче улететь на своих крылышках. Но он не полетел, а камнем упал в траву и мгновенно замер. Замерла враз и мать – ни единым звуком, ни единым шорохом не выдавая свое присутствие, будто ее и нет вовсе. Да, тетерева в минуты опасности хорошо умеют вот так затаиваться.

Растроганный маленькой птичьей хитростью, я спустился на луг, к александровскому пруду. Остановился, прислушался: сзади по-прежнему еще было тихо – все еще затаиваются.

# 30 Живые самоцветы

Лето началось нежными ландышами и колокольчиками, а сейчас цветы погрубели, в этом, наверное, виноваты жара и холодные росы. Да близкая осень. И все-таки куда ни глянь – кругом живые самоцветы: горит золотым жаром пижма, белеют тмин и тысячелистник, синеет на некосях и около троп цикорий. А поглядите на небо: оно и выше стало, и голубей, потому и облака на нем кажутся белее снега. А как украсилась полынь золотистыми соцветиями! И пылит она ярко-золотой пыльцой, и далеко разносится горьковатый запах. Цветет вовсю и вьюнок, его розоватые граммофончики обвили и украсили всю лебеду у дороги.

Нет-нет да и встретится с краешку леса уцелевшая от кос ромашка. А дягиль уже отцвел, уронил с себя белый цвет, но еще красуется тяжелыми шапками салатовых семян. Украшают отаву розовые короставники, а по низинам, где повлажнее, душисто пахнут кремовые шапки таволги.

Лето было жаркое, и через болото проложена свежая тропка. И прямо по цветущей мяте. Вот и пахнет вся тропа мятой. И жалко ее, и хочется проложить новую тропу в обход.

В лесных песенных долах вдруг стало непривычно тихо. Видно, и к тишине нужно привыкать, хотя это и немного грустно.

Уже начинают кутаться с вечера в голубые туманы низины, оставляя на отаве холодные росы. Только бы лежать под такими туманами льнам после теребления, они их очень любят.

Нет, лето еще не потушило своей живой радуги, вон как украшено кругом живыми самоцветами: белым, золотистым, голубым.

# 31

Осенний свинцовый вечер; холодный дождь, мелкий, как пыль, неутомимо сеет на крыши домов Берлина, на зонтики почтенных немцев и камень мостовой; крупные, краснощекие люди торопливо разносят свои сытые тела, большие животы по улицам, скучно прямым.

Огромный город – сегодня весь мокрый, озябший и хмурый – утомительно правилен, он – точно шахматная доска, и кто-то невидимый гоняет по ней черные фигуры, молча играя трудную, сложную игру.

Между крыш, над черной, спутанной сетью деревьев, тускло блестит купол рейхстага, как золотой шлем великана-рыцаря, плененного и связанного толстыми цепями улиц, каменно-серыми звеньями домов.

Вспыхивают бледные, холодные огни, и вода на мостовой в щелях и выбоинах камня светится синевато, тонкие маленькие ручьи напоминают вены, густую, отравленную кровь. От огней родились тени, тяжелый город, еще более тяжелея, оседает к мокрой земле: дома становятся ниже, угрюмей, люди – меньше, суетливее, все вокруг стареет, морщится; гуще выступает сырость на толстых стенах, яснее слышен шум воды в водостоках, и покорно падают на плиты тротуара тяжелые капли с крыш.

Скучно. Этот город – такой большой, серый, хвастливо чистый – неуютен, как будто он создан не для людей, а напоказ, и люди живут порабощенные камнем. Они мечутся в улицах города, как мыши в мышеловке, жалко смотреть на них: жизнь их кажется бессмысленной, непоправимо, навсегда испорченной – никогда они не станут выше того, что создано ими до этого дня, не почувствуют себя в силе жить иначе – свободней и светлей.

Хрипло ухают и гудят автомобили, гремит и воет блестящий вагон трамвая, синие искры брызгают из-под его колес; недоверчиво хмурятся подслеповатые окна домов и холодно плачут о чем-то. Все кажется смертельно усталым, и всюду сырость, точно пот больного лихорадкой.

*(По М. Горькому)*

# 32 Сулой

О том, что такое «сулой», не имел я ни малейшего понятия, пока не добрался однажды до самого Края Света. Есть скалистый утес с таким названием на океанской стороне курильского острова Шикотан.

Высоко вознесся утес над прибоем. А на самой вершине – круглая башня маяка в перекрестии бетонных переходов. От кого такая защита? От свирепых ураганных ветров, способных сдуть человека в океан.

В тихую погоду о тайфунах напоминали здесь лишь прижатые к земле, исковерканные каменные березы да спелые ягоды рябин высотою… по щиколотку. Таким вот погожим безветренным утром двое плечистых улыбчивых служителей маяка Володя да Толич пригласили меня прогуляться на базар. Базар, конечно же, был птичий.

Парни сели за весла, я вооружился биноклем и фотоаппаратом и скоро забыл, куда мы плывем на шлюпке и зачем. Вздыбленные скалы отделили нас от всего мира, оставив для обзора лишь несколько разукрашенных яркими мхами островков. Пологий океанский накат вылизывал их подножья. Светлые блики то и дело меняли облик причудливых гротов и кекуров – каменных столбов, похожих на указующие персты великанов. Вдали, в открытом море, тускловато взблеснуло что-то и пропало. Неужели кит?! В бинокль увидел черную лоснящуюся спину с тупым срезом головы. Фонтан над ней вырывался в сторону и немного вперед, так дышит только кашалот. Кит плыл не торопясь, быть может, мечтая заглотить добрую стайку кальмаров.

Море не замедлило напомнить, что, кроме бинокля, в руке моей было и рулевое весло. Шлюпка вдруг закивала во все стороны с торопливой угодливостью, едва не сбросив рулевого с кормы. Достаточно было взглянуть на озабоченные, напряженные лица гребцов, чтобы ни о чем больше не спрашивать. Парни налегали на весла изо всех сил, но шлюпка почти не двигалась с места.

В странное место занесла нас нелегкая. Вокруг, сталкиваясь, приплясывали волны. Движение их не походило ни на зыбь, ни на буруны, по которым угадывается отмель. Шлюпка раскачивалась, едва не черпая бортами воду, и под ногами уже хлюпало. А я, прошляпивший эту опасность, мог только подгребать коротким веслом. Да толку-то от той гребли… Цепкой хваткой удерживал нас в объятиях сулой.

Это волнение моря, похожее на всплески кипящей воды, образуется на стыке двух течений или при впадении рек в полосу прилива. Оно способно даже в штилевую погоду поднимать волны до пяти-шести метров, порождать опасные водовороты. Тот сулой, в который попали мы, на счастье, оказался не слишком крутого нрава. Позабавясь со шлюпкой, он отпустил нас минут через десять. Но долгими показались эти мгновенья.

# 33 Какая польза от крылышек

На земле остается все меньше нетронутых территорий. И, дикие животные вынуждены все чаще сталкиваться с цивилизацией лицом к лицу. Встречи эти не проходят даром. Земные обитатели многому научились.

Очень толковыми оказались пернатые. Например, синицы, проживающие в Англии, приноровились откупоривать бутылки с пробками из картона или алюминиевой фольги. Их по традиции всегда оставляли на улице перед входом в дом молочники. Однажды любопытный острый клюв проткнул фольгу… Дурной пример заразителен: сливками стали завтракать представители одиннадцати видов диких пернатых.

Цивилизация многолика, вездесуща. Пернатым она преподносит не только сливки, но и сеет смерть. Возьмем хотя бы аистов, которых везде любят и охраняют. И все же птиц этих становится все меньше: они часто гибнут из-за телеграфных и электрических проводов. Большущие птицы с прямолинейным полетом не могут или не успевают увильнуть от проводов и режут о них свои белоснежные крылья. А еще аисты погибают в мучениях на зимовье в Африке из-за отравления мертвой саранчой, убитой ядохимикатами.

Разумный путник всячески сокращает дорогу, экономит силы. Птицы тоже стараются выгадать где можно. Едва из Франции в Италию сквозь Альпы пробили автомобильный туннель, ласточки тотчас бросили взмывать над горами. Теперь они держат путь в южные края через туннель, причем наиболее отважные цепляются лапками за багажники попутных машин, так сказать, едут «зайцами».

Аисты тоже не пренебрегают достижениями цивилизации – в Северной Африке они «оседлали» восходящие токи горячего воздуха от факелов, где нефтедобытчики сжигают попутные газы. Горячий воздух, словно лифт, поднимает их на распростертых крыльях, птицы, планируя, экономят силы.

Могучий зов предков заставляет аистов и других перелетных птиц дважды в год пускаться в длинное, полное опасности странствие, именуемое учеными миграцией.

# 34

Четвертого мая 1887 года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, это надо было рассматривать как не что иное, как удачно представившийся случай. Седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника.

Музыка грянула: от полковника выносили развевающиеся знамена. Раздалась команда, полк выровнялся и беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал. Шагал и я, стараясь попасть в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки – вперед. Но, несмотря на все эти неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид штыков и лиц, загорелых и суровых, – все настраивало душу твердо и спокойно.

Нас влекла неведомая тайная сила, нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню – самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась глубокая долина, уходившая в даль туманную. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч, тогда косые и прямые полосы дождя казались серебряными. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как будто струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: всего восемнадцать верст от Кишинева. Однако с непривычки нести на себе такой груз, я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене, да так и стоял минут десять не шевелясь, а потом уснул как убитый, проспав до четырех часов утра.

*(По В. Гаршину)*

# 35 Королек среди птиц

В лесу тихо. Каждый шорох, любой звук привлекают внимание. Белка с ветки на ветку прыгнет или мышь в сухой траве пробежит – слышно. А тут синички настоящий концерт устроили. Летают по лесу, проверяя ветки, щелки, отставшую кору, ищут, где какая букашка спряталась. Песня синицы всем известна. Но вот послышался тихий голосок: «ти-ти-ти». Так синички не поют. Значит, другой певец объявился.

Выглядываю из-за сосны. Рядом с синицей на сухую ветку оливково-зеленая пичужка села. Сама маленькая, вдвое меньше синицы. На голове желто-оранжевая полоска, брюшко желтовато-белое. Конечно, это королек. Он такой верткий, порхает, как бабочка. Между синицами только оливково-бурый хвостик мелькает. От них не отстает. Куда синицы, туда и королек летит.

Синичка на сучке трещину осмотрела, постучала клювом, и королек тут как тут. Тоже туда заглядывает. Он, оказывается, и акробат неплохой. То вниз головою по стволу бегает, то висит, ухватившись за ветку когтями. Синицы к нему привыкли, вроде с давних пор знакомы, не обижают.

Долго я наблюдал за птичьей стайкой. И не напрасно. Для себя любопытное открытие сделал. Находила синица в узких трещинах жучков, но не всегда могла их достать. Клюв у синицы короткий, широковатый, в щель не лезет. Зато королек тоненьким клювом без труда добычу вытаскивал. Иногда сам съедал, а когда ронял, синица подбирала.

Синицы на королька не в обиде. Вместе перелетают с дерева на дерево, полезное дело делают, уничтожают вредителей. Лесники не зря говорят, что маленькие корольки деревья лечат.

# 36

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в прохладном поле, – в полях весна была еще ранняя, – шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки.

Утром был Орел, пересадка и провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридесятое царство. Поезд из Орла шел не спеша. Митя не спеша ел тульский пряник, сидя в почти пустом вагоне.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей, потом опять задремал, – глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Все тонуло в необыкновенных мягких сумерках, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня. Тарантас нырял по ухабам, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял странный, как будто из древности, мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, – она была окнами в сад, на восток, – и прошел по всем другим, то живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих прежних местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано. Веснушчатая девка домывала только гостиную, примыкавшую к лакейской, как ее называли еще до сих пор.

Горничная Параша, босая, белоногая, шла по залитому полу и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица: «Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехала на станцию со старостой, вы, наверное, и не слышали…»

*(По И. Бунину)*

# 37

К середине марта набирающие силу оттепели рассыпают в полях прихотливую мозаику проталин. Щедро политые солнечными лучами, темнеют и оседают сугробы, подточенные бегущими под снеговой толщей невидимыми пока ручейками. Пройдет несколько дней, и черной метелицей завьется над проталинами веселая круговерть грачиных стай, по всей округе разнесется громкое, хриплое карканье, срывающее остатки зимнего сна с пробуждающейся природы.

Всю зиму на деревьях за околицей мерзли темные шапки грачиных гнезд и вот дождались наконец своих хозяев. Однако в первые дни грачи озабочены в основном поисками пропитания. Ведь пока почти повсюду лежит снег, скрывающий до поры до времени грачиные лакомства. Разве что на проталинах можно поживиться. Особенно охотно ранней весной грачи промышляют вдоль дорог: здесь и снег сходит быстрее, и всякого зерна, просыпанного по осени из машин, всегда в достатке. Не забудут грачи вместе с воронами и деревенскую свалку навестить, да и в самой деревне у мусорных ящиков также всю компанию не раз за день повстречаешь.

Но чем меньше снега в полях, тем богаче грачиный стол. В еде грачи не привередничают, их рацион включает и животную, и растительную пищу. Важно вышагивая по мокрой земле, птицы пристально вглядываются в прошлогоднюю траву. Тут уж всякой мелочи надо быть настороже. Грачи ни муравья, ни улитки, ни червяка не пропустят. А зазевается лягушка или полевка, опоздает в норку спрятаться – и они пернатым обжорам на обед попадут.

Но главный пир открывается с началом вспашки, когда над каждым трактором повисают тучи грачей. Пласт за пластом ложится за плугом жирная, черная земля, нашпигованная всевозможными деликатесами: дождевыми червями, личинками жуков, прорастающими семенами. В отличие от ворон и галок, которые нередко тут же промышляют, грачи не только с поверхности корм берут, но и с упоением в земле роются, глубоко проникая в почву своим крепким, длинным клювом. У взрослых грачей от таких упражнений перья вокруг основания клюва в конце концов полностью стираются, и образуется что-то вроде элегантной белой маски, составляющей превосходный ансамбль с безупречным, черным с фиолетовым отливом фраком.

Грачи известны как убежденные коллективисты. Круглый год они предпочитают жить в обществе себе подобных, а когда

приходит пора гнездовых забот, любят селиться поблизости друг от друга. В грачиных городах бывают сотни и даже тысячи гнезд, многие из которых почти вплотную примыкают одно к другому. Гнезда прочно сплетаются из веток, утепляются сухой травой и клочками шерсти и служат птицам не один год. Весной грачи прежде всего торопятся занять уже готовые постройки, тщательно их ремонтируют, заново выстилают лоток.

Вскоре в гнезде появляется пять или шесть зеленоватых яиц, испещренных мелкими бурыми пятнышками. Заботы о насиживании кладки берет на себя самка, в то время как самец почти непрерывно дежурит у гнезда, бдительно охраняя покой своей семьи от вторжения многочисленных и бесцеремонных соседей. Так проходят две недели, после чего самец оставляет привычный наблюдательный пост и полностью переключается на добывание корма для вылупившихся птенцов и самки, которая первые дни ни на минуту не оставляет потомство, защищая его от холода или, наоборот, слишком яркого солнца, грозящего птенцам перегревом. Но аппетит у птенцов растет не по дням, а по часам, и вскоре самка, перевоплотившись из живого обогревателя в неустанного фуражира, присоединяется к партнеру. День-деньской трудятся родители, чтобы прокормить прожорливых отпрысков. Хорошо еще, что кожа на подбородке у грача очень эластична и способна сильно растягиваться наподобие вместительного кармана, куда можно набрать немало гостинцев для птенцов, ведь летать за ними приходится подчас за несколько километров от колонии.

Когда молодежь начинает летать, родители на целый день уводят птенцов за собой в поля и на луга, где продолжают подкармливать. На ночь грачиные семьи неизменно возвращаются в колонию к своим гнездам. Лишь когда молодые птицы приобретут устойчивые навыки самостоятельной жизни, грачиные стаи покидают окрестности родных колоний. Впереди – кочевая жизнь до осени, дальнее и трудное путешествие к местам зимовки.

# 38

Десятого марта с вечера пал над Гремячим Логом туман, до утра с крыш куреней журчала талая вода, с юга, со степного гребня, шел теплый и мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала над Гремячим, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овеянная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце, с юга уже мощной лавой ринулся ветер; стекая влагой, с шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег, побурели крыши, черными пятнами покрылась дорога; а к полудню яростно всклокоталась светлая, как слезы, нагорная вода и бесчисленными потоками устремилась в низины, в сады, омывая горькие корневища вишенника, топя прибрежные камыши.

Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной, нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих волнах желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища, сухие выволочки с пашен.

В Гремячем Логу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые льдины. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нересте. Иногда струя выметывала их на берег, а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями, со скрежетом налезая на стволы, круша садовый молодняк, раня яблони, пригибая густейшую поросль вишенника.

За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на солнце паром. Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над пашнями – солнце, молочно-белый пар, волнующий выщелк раннего жаворонка да манящий клич журавлиной стаи, вонзающейся грудью построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес. Над курганами, рожденное теплом, дрожит, струится марево; острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу. Высушенное ветром озимое жито словно на цыпочках поднимается, протягивая листки навстречу солнечным лучам. Но еще мало живого в степи, не проснулись от зимней спячки сурки и суслики, в леса подался зверь, изредка пробежит по старику бурьяну полевая мышь да пролетят разбившиеся на брачные пары куропатки.

*(По М. Шолохову)*

# 39 Чайки над озером

Чайки над озером – это красиво. Во второй половине июля их налетело столько, что даже соседний луг изменил свой цвет: из зеленого стал белым. Их тут, пожалуй, стало больше, чем на Оке. Они так разлетались, будто потеряли что-то и все ищут. То разволнуются, раскричатся на всю округу, то тихо сядут на воду. И снова поднимутся. И тогда небо станет белым от крыльев, крылья заслонят и лесной холм, и выступ Красной горы. Вот уж настоящее царство чаек.

Я видел большие стаи синиц, свиристелей, чечеток на перелетах. Но таких больших еще не видел. И, ведь не столкнутся в тесном полете, не сшибутся одна с другой.

Первый раз долго стоял и любовался на них. То они летали большими кругами, то низко и плавно скользили над самой водой, потом вдруг стали садиться на воду. И вот уже легко покачиваются на ней. Видятся одни лишь головы, хвосты и выгнутые спины, будто напустили на озеро сотни игрушечных ладей. Затем стали выбираться на берег. Закат окрасил озеро в золото. Вот и видятся зеленый луг, белые чайки и золотистая вода. Ну чем не радуга! Сидят спокойно, без шума и колготни, любуются одна другой. А между тем несколько чаек кружат, стерегут отдых, наверное, дежурные.

Что привлекло их сюда? И откуда их столько? Бескормица на реке, здешняя рыба? А может быть, заманила красота? Прилетели на разведку несколько смелых, увидели это лесное озеро и удивились красоте. А потом и другим нахвалили. Вот и налетели. Где, на каком озере вы увидите столько чаек?

Но мне хотелось еще раз полюбоваться ими в небе, и я долго ждал, пока они не поднялись снова. Озеро под вечер тихое, все отражается в нем: отражаются и чайки в полете, и вода от этого кажется белой и вся в крыльях.

Я почти каждый день заходил на озеро полюбоваться чайками. Но вот и они отлетали свое, откричали, отрадовали людей. И как-то в полдень помолчали в тишине, помолчали и… улетели.

Скорее всего, осень позвала в дорогу. А может быть, и сердцевещун подсказало, что пора улетать, потому что вот-вот начнут тут палить из ружей во все живое, так что и им достанется. Вот и улетели. И как-то осиротело без них озеро.

Я еще не раз приходил сюда, чтобы снова увидеть чаек. Но напрасно: озеро по-прежнему оставалось молчаливым.

# 40

Стоит Сорока на льдине, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. Рыбак застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица крячет, с моря низко по ветру летит и ветер-глубник встал. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи.

Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись фигуры, напряженно всматривающиеся вдаль.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Тяжело надвигались ледяные поля, и смешанный гул висел над ними, непохожий на морской прибой.

Огляделся Сорока, видит: день совсем кончается. Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами искорок, отразился во льду и на мгновенье бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный, одетый печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль него человеческих фигур.

Первые воды прилива добежали до берега. Смолкли шумевшие до того волны. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу – гул пошел окрест. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину, громоздились в причудливые горы. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения; в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Сорока спустился на лед одним из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс в наметенный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валились по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди: «Кабы напасть, поспеть… Царь небесный!» Осколки льда брызгами летели из-под ног, ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечал и бежал бешено вперед.

*(По А. Серафимовичу)*

# 41 Глубокой осенью

Все были дожди. А сегодня с утра подморозило и день выдался на удивление: свежий, солнечный, светлый.

Я иду дорогой по озимому полю. На солнце озимь отошла от мороза и засверкала всеми огоньками: янтарными, сиреневыми, голубыми. Иду, не отрывая взгляда от этой красоты, кажется, что двигаюсь вовсе не я, а плывет навстречу мне все в огоньках озимое поле. У самого леса трава вся в инее, а подальше она ярко-зеленая и тоже блестит на солнце. И от одиноких деревьев на мокром лугу, как островки, седые клинышки-тени.

От Васильева угла лесная тропка уходит в гору. Она вся в крупных дубовых листьях. Идешь, как по пуховой подушке, ноги тонут по щиколотку и шумят сухой листвой. А лес стоит почти голый. Последними уронили листья березы и дубы. Роняют листья и ветлы. А тех ветел на улице много, особенно внизу, на краю деревни. Перистые зеленые листья осыпаются и летят тихо, грустно. И прежде чем лечь на землю, они долго мельтешат в воздухе.

Все лужицы покрыты ледком, тонким, прозрачным. Оттого и кажутся они на лугу малахитовыми от луговицы. А вода в них от ветра шевелится, как в родничке, как живая.

Чем выше солнце, тем теплее и светлее. Ну и денек сегодня! Видно, и впрямь солнце додает людям осеннее тепло. И опять ожило все: проснулись муравьи, поднялись наверх, шевелятся. И божьи коровки ожили, заползали по листьям клевера. У тропы увидел три одуванчика и удивился: как это в непогодь сохранили свои пуховые шапки? А они стоят себе и греются на солнце, словно и ничего им не страшно. Хитрецы! Спрятались, а пригрело солнышко и – вот они мы. Ива внизу, у ручья, поторопилась даже выкинуть почки. Вон как светятся их чехольчики, а кое-где и серебрятся барашки. Лопнули, распушились шапки рогоза на болоте, и полетели во все стороны пушинки, белые, невесомые. И подумалось: уж не бабье ли лето вернулось? А почему бы и не случиться такому, ведь его в свое время и не было. Промелькнуло между дождями, никто и не увидел.

Вот тебе и глубокая осень. Вот тебе и предзимье.

# 42

Мы возвращались с охоты с далеко не заурядной добычей – восьмьюдесятью четырьмя дикими утками, настрелянными в течение нескольких часов. Обессилев от охоты и совершенного пути, мы разместились для отдыха под старым вязом и по-товарищески стали угощать друг друга съестными припасами, взятыми из дому.

Солнце, почти невидимое сквозь свинцово-черные тучи, обложившие небо, стоит высоко над горизонтом. Дальше серебристые горы, обвеянные мглой, кажутся диковинными. Легонький ветерок колышет травы, не успевшие засохнуть. Сквозь ветви деревьев виднеется темно-синее небо, а на сучочках кое-где висят золоченые листья. В мягком воздухе разлит пряный запах, напоминающий запах вина.

Неожиданно низкие, черные тучи с необыкновенной быстротой поплыли по небу. Нужно не медля убираться из лесу, чтобы в пору укрыться и не вымокнуть под ливнем. К счастью, невдалеке избушка лесного объездчика, в которой приходится задержаться на добрых полчаса.

Но вот отблистали молнии, отгрохотал гром. Яростный ливень вначале приостановил, а затем и вовсе прекратил свою трескотню. Стихии больше не спорят, не ссорятся, не борются. Расстроенные полчища туч уносятся куда-то вдаль.

На очищающемся небе резко вырисовывается чуть-чуть колышущаяся верхушка старой березы. Из-за облачка вот-вот выглянет солнышко. Осматриваешься вокруг и поражаешься, как мгновенно после дождя преображается все окружающее.

Освеженная рожь благодарно трепещет. Все живое суетится и мечется. Над камышом ручья кружатся темно-синие стрекозы. Шмель что-то жужжит не слушающим его насекомым, уже не чувствующим опасности. Из ближних рощ, с пашен и пастбищ – отовсюду доносится радостная птичья разноголосица.

Любезно простившись с уже не молодой хозяйкой, женой объездчика, мы отправляемся в путь. В какой-нибудь полусотне метров от избушки узенький, но быстрый ручей, вытекающий из лесной чащобы. Его не перепрыгнешь и вброд не перейдешь. Ищем перехода. Наконец находим шаткий дощатый мостик, по которому можно пройти только поодиночке. Неукатанной дорогой идем по лесоразработке, простирающейся на несколько километров. На пути попадаются вперемежку то еще не сложенные в ряд дрова, то не распиленные восьмиметровые сосновые бревна.

Выйдя из леса, мы сначала следуем по уже езженному проселку, а затем по асфальтированному шоссе, заменившему старую немощеную дорогу. Еще один километр, и мы дома.

# 43 О чем твои думы?

Хороши осенью наши перелески под солнечным небом. Смотришь на них и думаешь, что и человек должен быть красивым рядом с этой красотой.

А сегодня лес осиротел, поредел, затих. Да и день-то пасмурный, серенький. Хотел было написать в блокнот, что в лесу стало неуютно, сиротливо. Но рука не поднялась, ведь неправда же это. Он и сейчас по этой поре хорош: в нем просторно, светло. Какая свежая хвоя и какие золотисто-оранжевые вершины берез!

Калина у ручья тяжело опустила свои спелые кисти и ждет не дождется, когда люди придут за ней.

Падают листья, они принарядили отаву, позолотили тропы, сделали оранжевыми лужи. Всюду листья: в овраге, в протоке, под ногами; они лежат то изнанкой, то кверху лицом. И уже пахнет свежей прелью. А последние листья все падают и падают, то они опускаются плавно, то мелькнут перед глазами стремительно, будто пролетели мимо птицы неведомой окраски.

Первыми уронили листья рябина и тополь, холодные утренники обожгли осинки и липки. Но дубы держатся, им опадать до самой белой метели. А еще пламенеет, светится золотом подлесок: кусты бересклета, молодой орешник, бузина. Загляделась на себя в протоке, задумалась молодая талина. Глядит, а сама роняет и роняет по листику в воду, прямо на свое отражение.

А чего стоят осенние песни леса! Гуляет по нему ветер, заставляя шелестеть, петь, шуметь. Просторно здесь ему, озорнику. Вот что-то и мне шепнул на ухо. Поднимаю голову, а его уже и след простыл, гуляет и поет у соседнего холма. Не зря о нем и говорят, что он вольный. А то взовьется кверху, к самым облакам. Что ему стоит с его легкостью и прытью.

Сегодня у меня в корзиночке с десяток яблок, поднятых под яблоней-лесовухой. А еще больше листьев, самых причудливых расцветок. Яблоки свежие, сочные, подрумяненные с одного бока. Я видел еще недавно эту яблоню всю в яблоках. А она вот возьми и сбрось их за одну ночь. Их на земле много, по щиколотку будет. А уж аромату!

А вскоре был очарован живой трепетной музыкой взлета дюжины куропаток у молодых сосен. Куропатки скрылись, а я все стоял и ждал, будто еще раз услышу это.

Да, лес хорош в любую погоду. Когда же туман, и с мокрых веток падают на листву крупные капли, лес шуршит, будто шепчется, разговаривает. О чем ты шепчешься, милый? Поведай

свои думы, дружище.

# 44 Месторождение бокситов

Все участники экспедиции были налицо, и наш руководитель объявил: «В субботу мы летим в Свердловск. Ознакомьтесь по карте с периферией области и приготовьтесь к дороге. Самолет поведет небезызвестный летчик Птицын».

Геннадий Кузьмич Птицын – авиатор-энтузиаст, не раз проявлявший удивительное бесстрашие во время трансъевропейских и трансатлантических полетов, беспристрастный водитель, влюбленный в свою профессию. По внешности Птицын – типичный уралец: блондин, низкого роста, коренастый, с обветренным и загорелым лицом. Он с легким презрением относится к людям, которые не восторгаются достижениями современной авиации.

У нашей экспедиции немало задач, но основное задание – исследовать месторождение бокситов на Северном Урале для вновь строящегося алюминиевого завода у города Каменск-Уральского.

По прибытии на место назначения мы, разбившись на небольшие группки, отправляемся к бокситам. В течение нескольких часов приходится пробираться дремучим, густым лесом. По обеим сторонам извилистой дорожки растет кудреватый папоротник, в глубине разрослись какие-то диковинные, причудливые травы. Разговоры замирают, а мы, очарованные, молча идем в глубь чащобы. Слышен только шорох и шепот листвы, жужжание насекомых и птичьи голоса.

В пол-одиннадцатого мы находимся в полумиле от месторождения, но кто-то предлагает отдохнуть, с чем нельзя не согласиться. Быстро собираем валежник, разжигаем костер. Пахнет жженой хвоей, едкий дымок синеватыми струйками поднимается вверх. Через полчаса, в продолжение которых никому не хочется двинуться с места, мы получаем кипяченную в нашем неизменном спутнике-чайнике воду для чая, варенный на пару и печенный в золе картофель.

На огонек откуда-то прибежали деревенские мальчишки и девчонки, а с ними молоденький щенок, похожий на волчонка. Мы предлагаем ребятам присоединиться к нашей компании, расположиться у костра. Рыжий веснушчатый мальчонка задумал достать из пепла самую большую печеную картофелину и ожег себе руку. Зоенька и Олечка, члены нашей экспедиции, быстро и по-хозяйски смазали ожог вазелином.

– Пора двигаться, товарищи! Если удастся, а наше намерение не может не удаться, сегодня мы обследуем месторождение

бокситов, – сказал наш руководитель.

Вскоре мы убедились, что он рассчитал верно, правильными оказались и расчеты наших профессоров и преподавателей.

# 45 Семь погод на дворе

Прошел Покров. С него на Руси начинали справлять свадьбы: заканчивались полевые работы, было время и до веселья. По народным приметам эта зима должна быть теплой и снежной, потому что ветер дул с юго-запада. Но эти приметы частенько не сбываются. Только одна всегда верна: если до Покрова зерновые не убраны с поля, им оставаться в зиму.

В осеннее ненастье каждый солнечный день – радость. Вот и вчера. Солнце еще не показалось, а уж побагровели на востоке облака, потом загорелись огнем, стали алыми. Ветер старается разогнать их по всему небу, и от них оно все багровеет. Огнистые облака взбираются кверху, достают даже до холодного серпика луны и застилают его. И вот уже все небо красное, пылающее, тревожное.

Выглянуло и солнце, прорвалось, такое чистое и алое. И небо постепенно очистилось, только на западе ветер сгрудил облака в белые горы. И загорелись окна в домах, засветились лужи, все кругом преобразилось, похорошело. И краски стали чистыми: голубое небо, оранжевые полосы леса, зелень озимых, синь речки. Но это все было недолго – часам к десяти солнце скрылось, небо замутилось, краски поблекли, поле стало сиротливым, речка холодной, темной, день стал сереньким, хмурым. Только и раздолье одному ветру.

И такое бывает: с утра туман, сыро, холодно, слегка моросит дождь. А после обеда день вдруг разгуляется: и солнце, и тепло, и радостно. Но такое бывает редко. Еще только октябрь, а уж мы видели, как молодым ледком обметало лужи, пруды, видели и снег.

А однажды опускались снежинки, легкие, крупные, лохматые. На углу улицы бабка с внуком все выискивали в воздухе снежинку покрупнее. «Вон какая! Смотри, смотри!» – показывает один другому. Что внук радуется, это понятно. А то ведь и бабка: надоело ненастье.

А как-то после обеда была на небе радуга. Недолго красовалась и радовала. Всю ее не видно было, но широкие концы, опущенные в заречные озера, были хорошо видны. Много приходилось видеть радуг и крутых, и пологих, но ни одна не радовала так, как эта.

Осенью на дворе частенько переменная погода: то солнце, то дождь, то ветер, то туман, то заморозки, то оттепели. И нечему тут удивляться: зима с летом борется, и примирения между ними не жди.

# 46 На охоте

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо было ясно; утренняя заря не пылала жаром, а разливалась кротким румянцем. Солнце, еще не раскаленное, как во время знойной засухи, но тускло-багровое, как перед бурей, светлое и приветливо-лучезарное, всплывало над длинной тучкой, освежая ее. Тучка блистала, и блеск ее был подобен блеску кованого серебра. В такие дни около полудня обыкновенно появляются высокие облака; они почти не трогаются с места, но далее, к небосклону, они сдвигаются, и кое-где между ними пробиваются сверху вниз сверкающие солнечные лучи.

Точь-в-точь в такой день я охотился за тетеревами. В течение дня я настрелял довольно много дичи; наполненный рюкзак немилосердно резал мне плечо. Вечерняя заря погасла, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами восходящего солнца, начали густеть и разливаться холодные тени. Быстрыми шагами прошел я кусты, взобрался на небольшой холм и вместо ожидаемой знакомой равнины с белой церковью в отдалении увидел совершенно другие, незнакомые мне места. У ног моих тянулась узкая долина, а справа возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении и оглянулся. «Да, – подумал я, – куда же это я попал? Видимо, я чересчур забрел влево». Я поскорее выбрался на другую сторону холма и пошел, забирая вправо. Я добрался до леса, но там не было никакой дороги: какие-то нескошенные низкие кусты широко расстилались передо мной, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле.

Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Все кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я уже с трудом различал отдаленные предметы, только одно поле белело вокруг. Я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел прямо, по звукам, наугад.

Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, что отроду не бывал я в таких пустынных местах: нигде

не было видно ни огонька, не слышно ни звука. Бесконечно тянулись поля, кусты, словно из-под земли вставали перед самым моим носом. Я уже собирался прилечь где-нибудь до утра, как неожиданно узнал, куда я зашел. Эта местность была известна у нас под названием Бежин Луг.

*(По И. Тургеневу)*

# 47 Прощание с лесом

Каждую осень я по нескольку раз прихожу прощаться с лесом и вижу его то в багряном наряде, с последними грибами, то грустно роняющим лист, то совсем голым, поредевшим и тихим. Ходишь, пока лесные тропы не заметет снежная метель.

Вот и сегодня пошел проститься. На улице свежо. Ночью погостил морозец и оставил по обеим сторонам ручья чистое серебро. Осыпал синие цветочки цикорий, поникла душица, лишь на меже зябнут последние ромашки. Но все равно хорошо в лесу, тихо, грустно. Певчие птицы давно улетели, а синички загулялись где-то на озимом клину. Только дятел на месте. Кому-то надо и о лесе позаботиться: осмотреть, перестукать его до весны. С трудом узнал в голой маленькой яблоньке ту лесную красавицу в цвету, которой любовался по весне. Тропинкой спустился в орешник. Я никогда не встречал в октябре так много орехов, как в этом году.

Нагибаю орешину. Вот уже и верхушка в руке. А где же орехи? Ни на ветке, ни на земле. Тянусь за другой, пригибаю – то же самое. Спелые орехи сами высыпаются и скрываются под листьями. Я вырезал палку с рогулиной. Но тронешь грань, и вот уже летит орех, потом листья, а следом и легкая сухая цветоножка. А орешек вмиг убежит, провалится, спрячется. Долго ли ему, такому маленькому, юркому? Пробовал трясти. Спелые орехи звонко ударятся о ствол, отскочат играючи, прозвенят о второй и тяжело упадут в листья. А то ляжет красавец на широкий лист прямо перед тобой. Одно загляденье: крупный, чистый, словно каленый. И ядро в нем полное, крутое, вкусное.

На нижних ветках висят уже пустые грани. Я сначала думал, что вот кто-то прошел передо мной и опорожнил их. Но поднял осторожно листья: улеглись рядком, по-братски, два спелых ореха. А то и такое увидишь в октябре: один орех уже выпал на землю, а другой только приготовился, высунулся наполовину и вот-вот упадет.

К вечеру усилился ветер, холодный, порывистый. Налетит злой листобой раз, налетит второй, и падают на землю спелые орехи, падают листья. А их и без того на тропах целые вороха. Вот пробежит по ним ветер, и тогда весь лес наполнится таинственными шорохами. Только слушай.

С полной корзиночкой спелых орехов я возвращался из леса, так и не успев по-настоящему попрощаться с ним. И не расстраиваюсь: однако будет предлог сходить еще.

# 48

Над портом стоит потемневшее от пыли, мутно-голубое небо. Жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, острыми килями судов, борющихся с высокими морскими волнами. Они, закованные в гранит, бьются о борта судов и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом. Звон якорных цепей, грохот сцепленных вагонов, металлический вопль железных листов, падающих откуда-то на немощеную мостовую, крики тружеников-грузчиков, юных матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушительную музыку рабочего дня. Но голоса людей еле-еле слышны в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, работающие на износ и живущие впроголодь, смешны и жалки. Потные, оборванные, согнутые под тяжестью товаров, они суетливо бегают в тучах пыли. Люди ничтожны по сравнению с окружающими их колоссами, грудами товаров, гремящими вовсю вагонами. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые пароходы-гиганты свистят, шипят, и в звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей. Длинные вереницы грузчиков, несущих на своих плечах тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Вот так бок о бок и уживаются друг с другом рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце машины, созданные этими людьми.

Раздалось одиннадцать ударов в колокол. Когда последний звук замирал, страстная музыка труда звучала уже тише. Наступало обеденное время. Грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами. Вдруг появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, несомненно хорошо знакомый всем в этой местности. Он был бос, в старых, поношенных штанах, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом. Длинный, немного сутулый, он медленно шагал по дощатому тротуару и, поводя своим горбатым хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды. Он как будто высматривал кого-то. Его густые и длинные усы то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую. Даже здесь, среди сотен таких же, как и он, босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с ястребом. В этой

бешеной сутолоке порта Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требующий немного труда и много ловкости. Он мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане появятся кредитные бумажки.

*(По М. Горькому)*

## 49

Уже более трех часов прошло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, – в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи! Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки тоже дремали; лошади, сколько я мог различить при чуть брезжащем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, кое-где стали раздаваться живые звуки, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг костра; один Павел приподнялся и пристально посмотрел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Все зашевелилось, проснулось, запело…

Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, пронеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

*(По И. Тургеневу)*

# 50

Хорошо идти по земле ранним утром. Воздух еще не знойный, но уже не холодный, приятно освежает. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. Под косыми лучами весьма неяркого утреннего света все кажется рельефнее, выпуклее: и мостик через неширокую, но полную водой канаву, и деревья, подножья которых еще затоплены тенью, а темно-зеленые верхушки влажно поблескивают (сквозь них брезжат лучи солнца), и невысокие, но сплошь покрытые бессчетным количеством листьев кусты. Даже небольшие неровности на дороге и по сторонам ее бросают свои маленькие тени, чего уж не будет в яркий полдень.

В лесу то и дело попадаются болотца, черные и глянцевитые. Тем зеленее кажется некошеная трава, растущая возле них. Иногда из глубины безгранично обширного леса прибежит рыженький приятно журчащий ручеек. Он пересекает дорожку и торопливо скрывается в смешанном лесу. А в одном месте из лесного мрака выполз, словно гигантский удав, сочный, пышный поток мха. В середине его почти неестественной зелени струится ярко-коричневый ручеек.

Нужно сказать, что коричневая вода этих мест нисколько не мутна. Она почти прозрачна, если зачерпнуть ее граненым стаканом, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, очень уж тонка та торфяная взвесь, что придает ей этот красивый цвет.

На лесной дороге, расходясь веером, лежали бок о бок тени от сосен, берез и елей. Лес был не старый, но чистый, без подлеска.

Километра через два слева и справа от бороздчатой дороги тянулись быстрорастущие кусты, какие могут расти только по берегам небольшой речонки. Возле них всюду была видна молодая поросль.

# 51

Под легким дуновением знойного ветра море вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших на пологий берег песчаной косы. Все было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и соленый аромат воды, жаркий воздух и желтый песок. Узкая длинная коса, вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, терялась где-то вдали, где знойная мгла скрывала землю. Багры, весла, корзины да бочки беспорядочно валялись на косе. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах.

Когда солнце начало спускаться в море, неугомонные волны то играли весело и шумно, то мечтательно ласково плескались о берег. Сквозь их шум на берег долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. Солнце садилось, и на желтом горячем песке лежал розоватый отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, и волны, взбегавшие на берег, – все готовилось к ночному покою. Одинокий, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь костра то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Ночные тени ложились не только на море, но и на берег. Вокруг было только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами небо.

*(По М. Горькому)*

# 52 Обыкновенная земля

В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. И тем не менее этот край нехоженых троп и непуганых зверей и птиц обладает большой притягательной силой. Он так же скромен, как картины Левитана, но в нем, как и в этих картинах, заключается вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие, никогда не кошенные луга, стелющиеся туманы, сосновые боры, лесные озера, высокие стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах остается теплым в течение всей зимы. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда иней покрывает траву на рассвете, и я вырывал в сене глубокую нору. Залезешь в нее – сразу согреешься и спишь в продолжение всей ночи, будто в натопленной комнате. А над лугами ветер гонит свинцовые тучи. В Мещерском крае можно увидеть, вернее, услышать такую торжественную тишину, что бубенчик заблудившейся коровы слышен издалека, почти за километры, если, конечно, день безветренный. Летом в ветреные дни леса шумят великим океанским гулом и вершины гигантских сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

Вот невдалеке неожиданно блеснула молния. Пора искать убежища для спасения от неожиданного дождя. Надеюсь, удастся скрыться вовремя вон под тем дубом. Под этим естественным, созданным щедрой природой шатром никогда не промокнешь. Но вот отблистали молнии, и полчища туч унеслись куда-то вдаль. Пробравшись через мокрый папоротник и какую-то стелющуюся растительность, выбираемся на едва приметную тропинку. Как прекрасна Мещера, когда привыкнешь к ней! Все становится родным: крики перепелов, суетливый стук дятлов, и шорох дождей в рыжей хвое, и плач ивы над заснувшей рекой.

*(По К. Паустовскому)*

# 53

Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить, большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкой лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой.

Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой; проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же занятием. Странно было видеть цыганский табор почти внутри города: дощатые балаганы, костры с чугунными котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какие-то яства.

Цыгане шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют. В последний раз приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством: лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол, и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку.

*(По В. Гаршину)*

# 54

В течение прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, где было настроено и сдавалось несколько небольших дач. Никак не ожидал я этого: дачи под Москвой, никогда еще не жил дачником без какого-то ни было дела в усадьбе, столь непохожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ним малы, имея вид туземных жилищ под деревьями в тропических странах. Пруд в парке, наполовину затянутый зеленой ряской, стоял как громадное черное зеркало.

Я жил на окраине парка, примыкавшего к негустому смешанному лесу; дощатая дача моя была не достроена, неконопаченые стены, неструганые полы, мебели почти никакой. От сырости, по-видимому никогда не исчезавшей, мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обрастали бархатом плесени.

Все лето почти непрестанно шли дожди. Бывало, то и дело в яркой синеве скапливались белые облака и вдали перекатывался гром, потом начинал сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращавшийся от зноя в душистый сосновый пар. Как-то неожиданно дождь заканчивался, и из парка, из леса, с соседних пастбищ – отовсюду снова слышалась радостная птичья разноголосица.

Перед закатом по-прежнему оставалось ясно, и на моих дощатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по совершенно неподвижным, притихшим лесам. В лунные ночи этот полусвет как-то странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило повсюду, по чистоте неба и воздуха все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я, засыпая, вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом беспредельная тьма и в отвес падающие молнии.

Утром в сырых аллеях, на лиловой земле, расстилались пестрые тени и ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками, и хрипло трещали дрозды. А к полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь.

*(По И. Бунину)*

# 55

Он сердито швырнул окурок, зашипевший в луже, засунул руки в карманы расстегнутого, развеваемого ветром пальто и, нагнув еще не успевшую проясниться от дообеденных уроков голову и ощущая в желудке тяжесть скверного обеда, принялся шагать сосредоточенно и энергично. Но как ни шагал, все, что было кругом, шло вместе с ним: и наискось ливший дождь, мочивший лицо, и заношенный студенческий мундир, и громадные дома, чуждо и молчаливо теснившиеся по обеим сторонам узкой улицы, и прохожие, мокрые, угрюмые, которые казались в дождь все, как один. Все это знакомое, повторяющееся день изо дня, надоедливо шло вместе с ним, ни на минуту, ни на мгновенье не отставая.

И вся обстановка его теперешней жизни, все одна и та же, повторяющаяся изо дня в день, казалось, шла вместе с ним: утром несколько глотков горячего чаю, потом бесконечная беготня по урокам.

И все дома его клиентов были на один манер, и жизнь в них шла на один манер, и отношения к нему и его к ним были одни и те же. Казалось, он только менял в течение дня улицы, но входил к одним и тем же людям, к одной и той же семье, несмотря на разность физиономий, возрастов и общественного положения.

Он позвонил. Долго не открывали. Загривов стоял насупившись. Дождь все так же косо мелькал, чисто омытые тротуары влажно блестели. Извозчики, нахохлившись, дергали вожжами так же, как и всегда. В этой покорности чувствовалась своя особенная, недоступная окружающим жизнь.

В пустой, голой, даже без печки комнате стояли три стула. На столе лежали две развернутые тетради с положенными на них карандашами. Обыкновенно при входе Загривова у стола его встречали, глядя исподлобья, два плечистых угрюмых реалиста.

Старший, вылитая копия отца, был в пятом классе. Глядя на этот низкий заросший жесткими волосами лоб, на эту срезанную назад тяжелую, неправильную голову, казалось, что в толстом черепе оставался очень небольшой уголок для мозга.

Загривов никогда не видел их матери, но почему-то казалось, что в младшем сквозь тяжелую оболочку отца сквозили мягкие, женственные черты матери, живые, жаждущие света, жизни. Казалось, он делал тщетные усилия и попытки выбиться из какой-то тяжелой, давившей обстановки, бился угрюмо, не умея и не имея с кем поделиться, отвести душу.

Со своими учениками Загривов никогда ни о чем

постороннем не заговаривал. Между ним и его учениками всегда стояла стена отчуждения. В доме так же царила строгая, суровая тишина, как будто никто не ходил, не разговаривал, не смеялся.

*(По А. Серафимовичу)*

# 56 Метель

Долго мы ехали, но метель все не ослабевала, а, наоборот, как будто усиливалась. День был ветреный, и даже с подветренной стороны чувствовалось, как непрестанно гудит в какую-то скважину снизу. Ноги мои стали мерзнуть, и я напрасно старался набросить на них что-нибудь сверху. Ямщик то и дело поворачивал ко мне обветренное лицо с покрасневшими глазами и обындевевшими ресницами и что-то кричал, но мне не разобрать было ничего. Он, вероятно, пытался приободрить меня, так как рассчитывал на скорое окончание путешествия, но расчеты его не оправдались, и мы долго плутали во тьме. Он еще на станции уверял, что к ветрам всегда притерпеться можно, только я, южанин и домосед, претерпевал эти неудобства моего путешествия, скажу откровенно, с трудом. Меня не покидало ощущение, что предпринятая мною поездка вовсе не безопасна.

Ямщик уже давно не тянул свою безыскусную песню; в поле была полная тишина, белая, застывшая; ни столба, ни стога, ни ветряной мельницы – ничего не видно. К вечеру метель поутихла, но непроницаемый в поле мрак – тоже невеселая картина. Лошади как будто заторопились, и серебряные колокольчики зазвенели на дуге.

Выйти из саней было нельзя: снегу навалило на пол-аршина, сани непрерывно въезжали в сугроб. Я насилу дождался, когда мы подъехали наконец к постоялому двору.

Гостеприимные хозяева долго нянчились с нами: оттирали, обогревали, потчевали чаем, который, кстати сказать, здесь пьют настолько горячим, что я ожег себе язык, впрочем, это нисколько не мешало нам разговаривать по-дружески, будто мы век знакомы. Непреодолимая дрема, навеянная теплом и сытостью, нас, разумеется, клонила ко сну, и я, поставив свои валяные сапоги на протопленную печь, лег и ничего не слышал: ни пререканий ямщиков, ни перешептывания хозяев – заснул как убитый. Наутро хозяева накормили незваных гостей и вяленой олениной, и стреляными зайцами, и печенной в золе картошкой, напоили теплым молоком.

*(По И. Голуб, В. Шейну)*

# 57 Ночь в Балаклаве

В конце октября, когда дни еще по-осеннему ласковы, Балаклава начинает жить своеобразной жизнью. Уезжают обремененные чемоданами и баулами последние курортники, в течение долгого здешнего лета наслаждавшиеся солнцем и морем, и сразу становится просторно, свежо и по-домашнему деловито, точно после отъезда нашумевших непрошеных гостей.

Поперек набережной расстилаются рыбачьи сети, и на полированных булыжниках мостовой они кажутся нежными и тонкими, словно паутина. Рыбаки, эти труженики моря, как их называют, ползают по разостланным сетям, как будто серо-черные пауки, исправляющие разорванную, воздушную пелену. Капитаны рыболовецких баркасов точат иступившиеся белужьи крючки, а у каменных колодцев, где беспрерывной серебряной струйкой лепечет вода, судачат, собираясь здесь в свободные минуты, темнолицые женщины – местные жительницы.

Опускаясь за море, садится солнце, и вскоре звездная ночь, сменяя короткую вечернюю зарю, обволакивает землю. Весь город погружается в глубокий сон, и наступает тот час, когда ниоткуда не доносится ни звука. Лишь изредка хлюпает вода о прибрежный камень, и этот одинокий звук еще более подчеркивает ничем не нарушаемую тишину. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Нигде, по-моему, не услышишь такой совершенной, такой идеальной тишины, как в ночной Балаклаве.

*(По А. Куприну)*

# 58 На сенокосе

Трава на некошеном лугу, невысокая, но густая, оказалась не мягче, а еще жестче, однако я не сдавался и, стараясь косить как можно лучше, шел не отставая.

Владимир, сын бывшего крепостного, не переставая махавший косой, почем зря резал траву, не выказывая ни малейшего усилия. Несмотря на крайнюю усталость, я не решался попросить Владимира остановиться, но чувствовал, что не выдержу: так устал.

В это время Владимир сам остановился и, нагнувшись, взял травы, не торопясь вытер косу и стал молча точить. Я не спеша опустил косу и облегченно вздохнул, оглядевшись.

Невзрачный мужичонка, прихрамывая шедший сзади и, по-видимому, тоже уставший, сейчас же, не доходя до меня, остановился и принялся точить, перекрестившись.

Наточив свою косу, Владимир сделал то же с моей косой, и мы не медля пошли дальше. Владимир шел мах за махом, не останавливаясь, и, казалось, не чувствовал никакой усталости. Я косил из всех сил, стараясь не отставать, и все более ослабевал. С деланным безразличием махая косой, я все более убеждался, что у меня не хватит сил даже для считанных махов косы, нужных, чтобы закончить ряд.

Наконец ряд был пройден, и, вскинув на плечо косу, Владимир пошел по уже хоженому покосу, ступая по следам, оставленным каблуками. Пот, не унимаясь, скатывался с моего лица, и вся рубаха моя была мокра, словно моченная в воде, но мне было хорошо: я выстоял.

# 59

Сумерки, может быть, и были причиной того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась прозрачная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие, пошевелив брошенный плащ, прокуратор, оставив его, забегал по балкону, то подбегая к столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола.

В течение сегодняшнего дня уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от утренней боли осталось только ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений, и, поняв это, он постарался обмануть себя. Ему ясно было, что, безвозвратно упустив что-то сегодня утром, он теперь хочет исправить упущенное какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями. Но это очень плохо удавалось прокуратору. На одном из поворотов, круто остановившись, прокуратор свистнул, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес в ошейнике с золочеными бляшками.

Прокуратор сел в кресло; Банга, высунув язык и часто дыша, уселся у ног хозяина, причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза и что он опять тут, рядом с человеком, которого любил, считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и самого себя пес считал привилегированным существом, высшим и особенным. Но, улегшись у ног хозяина и даже не пища на него, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда, и поэтому Банга, поднявшись и зайдя сбоку, положил лапы и голову на колени прокуратору, что должно было означать: он утешает своего хозяина и несчастье готов встретить вместе с ним. Это он пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в насторожившихся, навостренных ушах. Так оба они, пес и человек, любящие друг друга, встретили праздничную ночь.

*(По М. Булгакову)*

# 60

Я проснулся ранним утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Странный свет – неяркий и неподвижный – был вовсе не похож на солнечный. Это светили осенние листья.

За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву. Она лежала разноцветными грудами на земле и распространяла тусклое сияние, и от этого сияния лица людей казались загорелыми. Осень смешала все чистые краски, какие существуют на свете, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба.

Я видел сухую листву, не только золотую и пурпурную, но и фиолетовую, и серую, и почти серебряную. Краски, казалось, смягчились из-за осенней мглы, неподвижно висели в воздухе. А когда беспрерывно шли дожди, мягкость красок сменялась блеском: небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как величественные багряные и золотые пожары. Теперь конец сентября, и в небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и темно-махровых туч. Временами проглядывает ясное солнце, и тогда еще чернее делаются тучи, еще голубее чистые участки неба, еще чернее неширокая проезжая дорога, еще белее проглядывает сквозь полуопавшие липы старинная колокольня.

Если с этой колокольни, забравшись по деревянным расшатанным лестницам, поглядеть на северо-запад, то сразу расширится кругозор. Отсюда особенно хорошо видна речонка, обвивающая подножие холма, на котором раскинулась деревня. А вдали виднеется лес, подковкой охвативший весь горизонт.

Стало смеркаться, с востока наносило то ли низкие тучи, то ли дым гигантского пожара, и я вернулся домой. Уже поздним вечером вышел в сад, к колодцу. Поставив на сруб толстый фонарь, достал воды. В ведре плавали желтые листья. Никуда от них не спрятаться – они были повсюду. Стало трудно ходить по дорожкам сада: приходилось идти по листьям, как по настоящему ковру. Мы находили их и в доме: на полу, на застеленной кровати, на печке – всюду. Они были насквозь пропитаны их винным ароматом.

# 61

После полудня стало так жарко, что пассажиры перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби.

На небе не было ни тучки, но на горизонте кое-где протянулись тонкие белые облака, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.

Снизу, из машинного отделения, доносилось непрерывное шипение и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым вздрагивала деревянная палуба «Ястреба». За кормой, догоняя ее, бежали ряды длинных широких волн; белые курчавые волны неожиданно бешено вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Волны без устали набегали на берег и, разбившись с шумом об откос, бежали назад, обнажая песчаную отмель, всю изъеденную прибоем.

Это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее: на весь Божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарования. Ей все казалось милым и дорогим: и пароход, необыкновенно белый и чистенький, и капитан, здоровенный толстяк в парусиновой паре, с багровым лицом и звериным голосом, охрипшим от непогод, и лоцман, красивый чернобородый мужик, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза неподвижно глядели вдаль.

Вдали показалась пристань – маленький красный дощатый домик, выстроенный на барке. Капитан, приложив рот к рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос, казалось, выходил из глубокой бочки: «Самый малый! Задний ход!»

Около станции толпились бабы и девчонки; они предлагали пассажирам сушеную малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу, вареную и печеную баранину.

Жара понемногу спадала. Пассажиры заметили, как солнце садилось в пожаре кроваво-пурпурного пламени и растопленного золота. Когда же яркие краски поутихли, то весь горизонт

осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая вверху неба в нежно-голубоватый оттенок вечернего неба.

*(По А. Куприну)*

# 62

Стелется бескрайняя равнина и, простираясь до самого горизонта, лежит свободно, просторно, открытая настежь всем ветрам. Издавна она славилась сенокосными лугами, пастбищами да вольным житьем овечьих стад. Весной тут наливались соком такие некошеные травы, полыхало такое разноцветие, что когда проходила косилка, то следом за ней расстилалась будто не трава, а ковер из цветов. Давно не стало в этих местах ни трав, ни цветов: вдоль и поперек погуляли плуги, и теперь стояла, покачивая золочеными колосьями, пшеница. Только кое-где на пригорке ранним июньским утром поднимался, как необыкновенное чудо, полевой мак, темно-красный, похожий на затерявшийся в пшеничном царстве одинокий огонек, или на древнем кургане подставляла в ветреную погоду свои развевающиеся кудри ковыль-трава. Цепко держалась также полынь, не умирала, сизым дымком причудливо курилась то близ дороги, то на выгоне, примыкавшем к хутору.

У моей бабушки с полынью связана древняя дружба. «Полынь – растение полезное», – говорила она. Земляной, мазанный глиной пол в своей хате бабушка устилала полынью, словно зеленым пахучим ковром. Идешь по такому ковру, а он зыблется, потрескивает под ногами и издает ни с чем не сравнимый аромат. Бабушке были известны и целебные свойства полыни. При каких только болезнях не применяла она ее, и одним из бабушкиных пациентов был не кто иной, как я сам.

Когда я учился в пятом классе, у меня заболело горло и бабушка перво-наперво приготовила отвар цветков полыни – это была такая горечь, какой я никогда не пробовал, однако горло вскоре прошло. Прополощешь горло отваром, положишь на нос веточки с цветочками, хорошенько подышишь ими – и хвори как не бывало.

Впоследствии в течение многих лет, особенно в те минуты, когда вспоминаю о бабушке и о хуторе, я чувствую такой приятный для меня запах полыни, и он, этот запах, словно невидимым магнитом, каждую весну тянет туда, на приволье, где я вырос.

# 63

Миновав дремучие заросли, мы перешли вброд речонку, на берегу которой заметили следы углежога. К полудню мы подошли к ступенчатому склону, сложенному, по-видимому, искусным каменщиком, и скоро увидели домишко с крышей из оцинкованного железа. А вот и ветхий дощатый заборишко, за которым видны молодые яблоньки, вишенки и черешенки. Тут же находится и немудреное хозяйство: десяток кур и воинственный петушок, взлетевший зачем-то на крыльцо. Робко и не надеясь, что кто-то захочет призреть незваных и нежданных гостей, мы постучали в дверь, обитую циновкой, но хозяева приняли нас радушно, по-свойски.

Хозяйка Мария Саввична потчевала нас то топленым молоком, то печенной в золе картошкой и все не уставала нянчиться с нами. Хозяин Филипп Кузьмич охотно рассказывал о своем хозяйстве, где он знал, казалось, каждое из своих бессчетных деревьев. Скоро пришел его сын – застенчивый парень-стажер (так называл его отец), который хочет быть преемником отца. У Федора (так звали лесника) оказалось много граммофонных пластинок, и мы с удовольствием слушали музыку в грамзаписи. Это было не что иное, как встреча с давно прошедшим временем, и что-то нежданное-негаданное нахлынуло на нас: ушедшая молодость, радость первых встреч, первая любовь…

У отворенного окна лежали аккуратно сложенные свежевыстроганные топорища, и от них в течение ночи шел сильный пряный запах.

Наутро мы изъявили сердечную благодарность любезным хозяевам и отправились в путь, рассчитывая к вечеру быть на месте, но расчет наш не оправдался. Вовсе не легким оказался наш дальнейший путь, неожиданные препятствия встали перед нами.

# 64

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими потемневшими глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне. У нее была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил мне дать ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг ожила. Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу босыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами. Потом дня через два старушка-няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызвала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа.

Отец ничего еще не знал, однако в тот же день остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже: лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

*(По В. Короленко)*

# 65

Ветер, не затихавший в течение долгих, томительных часов, упал. Приумолкшие волны несли изломанные остатки ледяных полей, словно искалеченные обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с небесного свода, унизанного ярко мерцавшими звездами, и северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим бескрайним морем, еще не улегшимся после недавней бури.

Понемногу море очищалось ото льда, и только одинокие глыбы покачивались на волнах. Вокруг не было ни души, и лишь на одной из льдин неясно выделялся силуэт высокой фигуры. Это был не кто иной, как Сорока. Одетый в некрашеный дубленый полушубок, он искусно работает багром, и гибкий шест бурлит и пенит воду. Кругом простирается необъятная белая равнина, над которой низко стелются дымчато-серые облака.

Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блеснула золотая Медведица. Сорока толкает вперед тяжелую льдину, а в голове теснятся невеселые думы: далеко в море вынесло, вторые сутки ни разу не ел. Из последних сил бьется охотник, понимает, что нельзя шутить с морозом. Старик помор знает, что, если останешься без движения, морозище обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Каких только ужасных историй не рассказывают на побережье! Сон постепенно овладевает человеком…

Неожиданно раздался протяжный удар ледяных громад. На мгновение Сорока как бы очнулся, но, к удивлению, никак не мог открыть глаз, точно слипшихся с мороза. Как далекая зарница в глухую ночь, мелькнуло смутное сознание опасности. Сорока поднялся, встряхнулся и пошел наугад, руководствуясь какими-то неуловимыми для незнакомого с морем человека приметами…

Сияя величавой красотой, тихо дремлет над спокойным морем ночь, затканная морозным туманом.

*(По А. Серафимовичу)*

# 66 Суходол

Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и оглушительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. В стороне от дороги, у самого поворота в Суходол, увидали мы высокую и престранную фигуру не то старика, не то старухи. Затемно приехали в усадьбу, где от дедовского дубового дома, не раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, полусгнивший. Запахло самоваром, посыпались расспросы. Мы пошли бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода на галерею и сад. В углу прихожей чернел большой образ, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне родословную господ, писанную давным-давно. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки. Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть ли не целая роща серебристых тополей.

А в полдень по-прежнему озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродил по гостиной. Уже исчезали те немногие вещественные следы прошлого, что заставали мы в Суходоле. Дом ветшал, оседал все более.

Долги, тяжки были зимы. Холодно было в разрушающемся доме. По вечерам еле-еле светила единственная жестяная лампочка. Старая няня сидела в странном полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок старым фортепиано.

*(По И. Бунину)*

# 67

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано – часа в три утра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубашки, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя заря, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» – две молитвы, которые он только и знал.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руль или не вовремя подобрать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно, кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве, плавали коршуны, ястребы; по курганам угрюмо чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весною и осенью стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной перелетной птицы.

Но более всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало цвести и по ночам светиться. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубовато-зеленый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он был готов рассказывать по целым суткам.

*(По А. Серафимовичу)*

# 68 Перед охотой

Покамест дорога шла близ болот, в виду соснового леса, все время отклоняясь вбок, мы зачастую вспыхивали целые выводки уток, приютившихся здесь.

Мой спутник провожал глазами каждую птицу и втайне обдумывал план нашей будущей охоты. Заметив где-нибудь утиные стаи, он просил шофера остановиться, и мы подолгу и вволю любовались не в меру беспечными утками, плавающими посередине тростников.

Приятно было видеть такое обилие дичи, и мы вовсе не обращали внимания на мошек и комаров, которые вперемешку летали вокруг и облепляли нас, лишь только мы останавливались.

Движение вперемежку с остановками развлекало нас, несмотря на громадную потерю времени. Мой спутник признался, что нигде и никогда не видел такого множества дичи, и добавил, что эти места, знакомые ему до сих пор только понаслышке, поистине великолепны для охоты и по праву могут рассчитывать на широкую известность.

Наконец, миновав болота, мы пересекли небольшую, но глубокую речонку, которую без риска не перейдешь вброд, и поехали в сторону. Мало-помалу дорога стала подниматься, и мы въехали в лес, который предстояло пересечь поперек. Нам хотелось поскорее выбраться из лесу.

А вокруг царила тишина. Сначала лес был не однородный, а смешанный, потом сплошь пошла одна сосна, да такая высокая, что впору корабельной мачте. Вплотную сомкнувшись своими вершинами, гигантские сосны непрерывно тянулись вдоль дороги, которую пересекали вылезающие наружу корни. Сторона, по-видимому, была глухая: везде виднелся лес, а полей по-прежнему не было.

Но вот сосна стала понемногу редеть, и сквозь стволы кое-где проглядывала невдалеке равнина. По-осеннему пахло сыростью. Вдали что-то блеснуло, но настолько неясно, что никак нельзя было рассмотреть, что это такое. Понапрасну всматривались мы вдаль: навстречу нам поднимался туман.

Тотчас после одного крутого поворота мы увидели мельничную плотину, из которой вкривь и вкось торчали пучки хвороста. Сама мельница была закрыта старыми ветками, усыпанными вороньими гнездами, издали похожими на наросты.

При нашем приближении десятки ворон с резким криком разлетелись врассыпную, неожиданно залаяли собаки, и впервые

за весь день мы остановились у человеческого жилья.

*(По К. Паустовскому)*

# 69

Послеметельный мир был особенно прекрасен. А еще он и обновленным был, словно метель упорно и долго перестраивала в нем что-то и ей в конце концов это удалось. Главным ее созданием казалась тишина, никогда ранее такой полной и глубокой не бывавшая, двойная, тройная, в глубь бесконечную уходящая. Потом снег новый, розоватый на закате, сугробами, наметами, шапками и чехлами покрывший и землю, и деревья, и кусты. И вдобавок воздух обновленный, такой бодрящий, будто он сумел вобрать в себя и сохранить потаенно недавнюю буйную силу метели.

Оценив все это и порадовавшись, заяц прикидывал, куда бы ему направиться на кормежку. Есть, есть, есть – вот что ему надо было сейчас. Он чувствовал себя оголодавшим и отощавшим настолько, что живот слипался со спиной.

Вдалеке, освещенный уходящим в землю солнцем, чуть зеленел стволами мелкий осинник. Заяц запрыгал туда, по уши почти погружаясь в свеженаметенный снег и выпрыгивая из него с целым облаком снежной пыли.

Кору осиновую он грыз неразборчиво, подряд, подгоняемый голодом и желанием поскорее сбить его остроту. Солнце уходило, и осинник терял свою зеленцу, сначала понизу, а потом все выше и выше. Сумерки серо-прозрачные поднимались, вытекали из земли, из снега, затопляя лес, подготавливая наступление ночи. Заяц все ел и ел, радуясь наступившей сытости и приливу сил. Он уже и на луну изредка взглядывал, пока еще слабенькую, на облачко легкое похожую. Вот наберет она свет и мощь, тогда можно будет и сородичей поискать и гулянье после долгой метельной отсидки устроить.

Увлеченный едой и потерявший поэтому обычную свою настороженность, он почуял приближение волков, когда прятаться от них было уже поздно. Да они, двое, к тому ж не просто рыскали-бежали, а по следу его шли, который не спрячешь.

Вся надежда зайца теперь на ноги была, и он помедлил несколько мгновений, выбирая направление: через поле, чуть вверх идущее, надо было рвануть и сразу выдать скорость предельную, сбить у волков охоту к погоне.

И он рванул. Тело его то сжималось в тугой комок в момент приземления, то распрямлялось пружиной мощной, вдруг отпущенной, и летело, вытянутое, распятое скоростью. Стежками размашистыми он прошивал снежный покров, и вспышки пыли

снежной тянулись вслед за ним. Подъем пологий кончался, и поле становились ровным – до самой темневшей вдалеке деревни. Заяц, вложивший в рывок все свои силы, почувствовал нарастающую усталость и оглянулся. Уверенный, что далеко опередил волков, он с жарким ужасом увидел их близко. Это означало гибель, конец. Чувство обреченности шевельнулось в нем, но он подавил его, лихорадочно ища выхода, спасенья. Если бы волк был один, то могла бы помочь скидка, прыжок вбок резкий, но вдвоем они легко возьмут его, зажав с двух сторон.

Ровная часть поля кончалась, и начался пологий склон. Бежать стало легче, но и опаснее – приземляясь в конце прыжка на короткие, слабые лапы, можно и через голову закувыркаться. Вот тогда уж точно все.

Выскочив на полузанесенную снегом дорогу, он вновь оглянулся. Волки еще приблизились, и он, всем существом своим почувствовав единственную возможность спасения, бросился по дороге в сторону деревни. По сравнительно твердым участкам дороги он летел стремглав и замедлялся резко на сугробах. Деревня своей темной, широкой массой наплывала на него, в ее редких огоньках было что-то и притягательное, надежду дающее, но и угрожающее тоже. Первое, однако, было гораздо сильнее, и заяц бежал, бежал, вкладывая в бег остатки сил.

Крайняя изба с ярким огнем приближалась, но и волки были рядом совсем. Заяц хотел было свернуть с дороги к саду и в нем найти защиту, но понял, что не успеет, что волки схватят его в глубоком перед садом снегу. И он бросился прямо к избе, на огонь ее, на запах чуждый и опасный. Оглянулся на дорогу в последний момент – волков на ней не было.

# 70

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – большая стеклянная оранжерея. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали все здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее золотисто-красным огнем. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные в ней растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплетались между собой; садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но и это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода: они были уроженцы жарких стран, нежные роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали по ней.

Как ни прозрачна была стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда зимой стекла замерзали и в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, рамы обындевели, крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный. В оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро: ботаническим садом управлял отличный ученый директор, не допускавший никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни. Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее: они завидовали ей. Этот рост доставлял ей только одно горе, потому что она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло другим его: к гадкой стеклянной крыше.

*(По В. Гаршину)*

# 71

Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лиц и фигуры Ольги и набросил на нее как будто покрывало; лицо было в тени: слышался только мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства.

Она пела много арий и романсов, по указанию Штольца; в одних выражалось страдание, в других – радость, но в звуках уже таился зародыш грусти.

Ольга в строгом смысле была не красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчуга во рту не было, ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребенка.

Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту отвечала величина головы, величине головы – овал и размеры лица. Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновенье останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом.

Нос образовывал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими ниточками – нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые лежали симметрично.

Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг.

Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и уехать. В заключение она запела «Каста дива»; все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, – все это уничтожило Обломова: он изнемог.

Он не спал всю ночь: грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате; на заре ушел из дома, ходил по Неве, по улицам, Бог знает что чувствуя, о чем думая…

*(По И. Гончарову)*

# 72

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И, когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмуро закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы гигантских сосен. Царил покой безлюдья, точно под огромным темным сводом молчаливых колонн.

Между стволами, которые сливались воедино, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застлавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и опять смыкались в сплошную красную стену.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный кожаным ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и, когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесной чащобе.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по бескрайнему, молчаливому, суровому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой – морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком и шумом возились на воде, заслоняя и воду, и далеко виднеющийся лес, и изумрудно-зеленые острова.

Мальчик с минуту постоял и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабевая, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду,

шумом заглушая умирающее эхо.

*(По А. Серафимовичу)*

# 73

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре можно сказать одно: вероятно, он был не достроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад, но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких деревьев. Впрочем, в нем найдется все для деревенского сада: крытая аллея из акаций, несколько скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках, в стороны – гряды с клубникой. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкрашенными белой краской, выходит в сад, и от нее тянется дорожка к небольшой речонке, через которую перекинут дощатый мостик, сгнивший местами.

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низкую, с полом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопченным потолком. Высокие стулья, выкрашенные белой краской, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле друга, окаймляя стены. Посредине комнаты – обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими ножками. В углу против окон – массивный флигель; на желтой закопченной стене – барометр, оправленный в черное дерево.

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и суровым. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжелой поступью, погруженная в раздумье. Ее полутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из темного ситцевого капота и бархатной пелеринки с бахромой.

У окна сидела девушка. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами оттеняло красивые руки. Коса ее, очень густая, спускалась на затылок. Черты лица были небольшие, исключая глаза – ясные и смелые; в очертании красивых губ, несмотря на детское еще выражение всего лица, чувствовалось уже столько энергии, что вы невольно догадывались о силе характера. Гармония господствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных ее глаз до красивых пальцев, которыми она работала бисером на бумаге, – занятие, придуманное для потери зрения.

*(По Н. Некрасову)*

## 74

Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. Вдаль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льда. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Ветер гудит между стволами вековых сосен, наклоняет стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от этого дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над этой молчаливой страной, а дремучий лес стоит, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чащобе. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни человеческого следа. Только ветер крутит порошу да мертвая мгла низко-низко стелется над снеговой пустыней.

Раз в год и сюда заходит беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз, как ударит лютый мороз и проложат крепкие дороги через топи, а на море в мглистой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, – с далеких берегов речки Мезени и из прибрежных селений, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, рядом с которыми широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст незваные гости.

*(По А. Серафимовичу)*

# 75

Внезапно все смолкло, и головы повернулись в одну сторону. По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, опустив по обеим сторонам руки. Ближе. Ближе. Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив голову, шатается в такт лошади.

В степи опять зачернело. По толпе пробежало: «Второй скачет!»

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красные. «Да это Охрим!» – закричали подбежавшие, бережно расправляя стынувшего. На плече и груди кроваво зияла сеченая рана, а на спине черное закипевшееся пятнышко.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги – все было в пятнах крови. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно-восковая желтизна. Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди, и сейчас же поднялся, и стоял над ним, опустив голову: «Сын! Мой Сын!»

Он постоял над мертвецом, уронив голову. А в неподвижной тишине все глаза смотрели на него.

Он пошатнулся, впустую хватаясь руками, потом схватил уздцы лошади и стал садиться на все так же вздрагивавшую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

И вот уже топот пошел по степи, удаляясь. Он во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряных мельниц косо и длинно погнались за ним через всю степь.

*(По А. Серафимовичу)*

# 76

Марья Павловна первый раз во всю свою жизнь проводила осень в настоящей русской степной деревне. И эта осень странно и приятно раздражала ее нервы, прихотливо изменяла ее настроение. Никогда она не чувствовала себя бодрее и вместе с тем никогда не чувствовала такой сладкой грусти, такой сладкой потребности слез и меланхолического раздумья. На народе, в виду суеты рабочих на молотилке, слушая веселый скрип телег с возами пшеницы, вдыхая в себя здоровый и сытный запах хлеба, ей было так хорошо и такой призыв к делу, к движению чувствовала она… И вдвоем с Сергеем Петровичем ей было хорошо. Но случалось, что она уходила далеко в поле, подымалась одна на возвышенности, гуляла в лесу, и тогда тихая печаль ее преследовала. Вот видела она, что равнина лежит перед ней пустынная, обнаженная, и как-то необычайно широко раздвинулись дали, зовущие к себе, уходящие без конца…

И нет человека во всем пространстве. И долго, долго безмолвствует над нею прохладная бледно-голубая высь, бывало, вся звенящая голосами певчих птиц и теплая, как чье-то близкое дыхание… Долго безмолвствует, пока в высоте, недоступной глазу, послышится звук, напоминающий отдаленный звук трубы, и протяжно, торжественно, унылыми переливами поплывет над окрестностью. Это летят журавли. И Марья Павловна долго всматривалась в сторону их однообразного «курлыканья» и замечала наконец черные точки, медленно, правильным треугольником подвигающиеся к югу… И простор обнаженных полей казался ей еще более значительным и унылым, синяя даль еще неотступнее звала к себе.

Леса были красивы в пестром разнообразии своей листвы. Березы походили на янтарь; липы оделись багровым цветом; дуб был точно из старой, потускневшей бронзы… Но запах увядания, запах тлеющих листьев, подобный запаху вина, странная разреженность внутри леса – широкие просветы там, где прежде была густая тень, придавали красивому лесу характер тихого и меланхолического прощания с жизнью.

*(По А. Эртель)*

# 77

Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые затоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды… А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.

Она осталась, по счастливой случайности, не тронутой, не разграбленной, в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу. Дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или, вернее, дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь.

И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле, с короткой винтовкой на коленях, однорукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, «народное достояние», и должен быть под стражей. Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, в нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое. Но однорукий, коротконогий болван с желто-деревянным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо.

*(По И. Бунину)*

# 78

Среди полей станция: красный дом из кирпича, рядом водокачка. Мимо станции железный путь, разъезды, фонари, склады, вагоны. Поездов за сутки мало – дорога новая – но они основательны: едут тихо, много пыхтят, долго стоят на полустанках, в пути действуют слабо: под уклон безнадежно летят, на взгорки взбираются с трудом. Само полотно жидко, но поезда очень тяжелы; вагоны полны мукой, иногда там топчут лошади, или видна белая пыль камня. Эти угрюмые товарные приходят ночью; в темноте издалека видны желтые огни, и что-то гудит по железным полоскам. Очень скучно и неприятно выходить к поезду. «Начальник» спит, вместо него юноша; он тоже в красной фуражке, но на ней меньше кантов.

Под паровозом бежит свет, станция подрагивает, и рельсы гнутся в скрепах, когда проползают вагоны, один за другим, сырые, с надписями мелом. Они только что пришли из необычайной тьмы, вокруг них очень долго выл ветер, и скоро они опять уйдут в этот холод и слякоть; скучно смотреть на них, лучше вернуться во второй этаж станции, лечь в постель и заснуть горячим сном. Но жаль, надо что-то писать, что-то считать и выдавать кондукторам разные бумажонки, которые никому не нужны. Потом что-то будут отмечать на вагонах, стучать снизу молоточком, ругаться; поезд будет дергаться вперед, назад, как будто бы бесцельно, но в конце концов все эти машинисты, кондуктора, черные смазчики с фонарями, отцепят от середины два вагона с мукой и поставят у навесов.

Все сделали, но все же стоят; помощник спит, телеграф постучал сколько нужно и успокоился, пора бы и ехать; дернули раз, другой, двинулись; ползут, едут. Перед станцией пусто, ветру теперь свободней лететь в лоб на платформу. Влево вдаль ушла тяжелая змея, набитая хлебом, с красноглазым хвостом.

До рассвета станция спит; с ней говорят только ветры, что кружат над вихрастыми деревушками вокруг, над усадьбами, помещиками, мужицкими церквами.

*(По Б. Зайцеву)*

# 79

До того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такой густотой, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовалась на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты – все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбранили.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, метель легко могла повредить делу. Масленица, бесспорно, владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что, если погода к восьми часам не улучшится, касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

*(По Д. Григоровичу)*